

Дарья Аппель
Девятый всадник

Часть 2



Дарья Апфель

Девятый всадник. Часть 2

«Издательские решения»

Аппель Д.

Девятый всадник. Часть 2 / Д. Аппель — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-962664-6

Продолжение беллетризованной биографии графа Х. А. Ливена. Он осыпан почестями, становится правой рукой императора Павла I, и все это — в 22 года. Но живется ему непросто. Приходится смиряться с причудами императора, вступать в интриги и заговоры, и одновременно с этим устраивать свое личное счастье...

ISBN 978-5-44-962664-6

© Аппель Д.
© Издательские решения

Содержание

ЧАСТЬ 2. Межвременье	6
Пролог	6
Глава 1	8
Глава 2	12
Глава 3	23
Глава 4	29
Глава 5	38
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Девятый всадник

Часть 2

Дарья Аппель

© Дарья Аппель, 2019

ISBN 978-5-4496-2664-6 (т. 2)

ISBN 978-5-4496-2665-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ЧАСТЬ 2. Межвременье

Пролог

СР. Декабрь 1838 г., Флоренция

История приходит и уходит, завершается очередной круг. Мы всего лишь пешки перед нею. И вспомнилось мне то, что произошло лет 500 назад, в страшное и прекрасное Средневековье.

...Магистр Жак де Моле, некогда возглавлявший могущественный Орден, был обвинен во множестве богомерзких поступков. Так, государь Франции Филипп IV, прозванный *le Bel* (*sic!*), укреплял единство своего королевства, пытаясь избавиться от «власти над властью». *Meister* де Моле обвинения признал, но через неделю от них полностью отрекся. К сожалению, ничего не помогло. Наш Орден был разгромлен и распят на том самом кресте, который первые Братья рисовали на знаменах. В алый цвет его окрасила кровь. В черный цвет – пепел от костра, на котором сожгли *Meister'a*. Владея тайными знаниями, Жак де Моле перед своей гибелью успел проклясть папу Климента, своего обвинителя шевалье де Ногаре, короля и все его потомство до тринадцатого колена.

Папа сгнил заживо. Ногаре захлебнулся собственной кровью. Король погиб на охоте. Весь род Капетингов прекратил свое существование.

Орден объявил Век Молчания и непримиримую войну папской власти. Ведь проклятье распространялось не только на смертных людей, но и на то, чем они владеют.

Спустя 200 лет крест превратился в розу. Камень гроба Ордена был отвален, и под ним никто не найден, а это значит – все Братья живы. Доктор Лютер написал свои тезисы и приколотил их к стене Замковой церкви Виттенберга. С тех пор колесо истории сделало очередной оборот, и трагедии уже сделались неотвратимыми. Папский престол пошатнулся. Было возобновлено строительство Истинного Храма, но до окончания – столько же, сколько для царства Божьего на Земле.

Братья прошлого служили Царям и Иерофантам, хотя и твердили о их гордыне. Так вечно – тем, кто облечен властью над телами и душами, необходимо рабское подчинение. За 500 лет ничего, по сути, не поменялось.

Если перед *S.M. (Sa Majesté, Ego Величеством)* уже стоит кляузник и рассказывает о могуществе нашего Ордена и о том, что я, светлейший князь, генерал от инфантерии, наставник его Наследника и прочее, и прочее, поклоняюсь бесам и составил заговор (а заговоров сейчас бояться не менее, чем 500 лет назад, я бы даже сказал, гораздо более) против Православия и Монархии, я не удивлен. Причина одна – им тоже нужны наши секреты и наши богатства. Но богатства – ничто без тайны. Да и я лишь девятый, а не первый.

Меня будут пытаться и спрашивать, кто первый. Будут перечислять имена, которые не имеют к нам ни малейшего отношения, но как я смогу открыть то, что не смогу выразить?

Увы, я умею проклинать. Мне ничего иного не остается, меня загнали в угол, и если я все же буду в Париже, то участи последнего избранного *Meister'a* не миновать. Я не представляю, что они сделают с теми, кто стоит за моей спиной, если они уже уничтожают все письма и наговаривают про меня не пойми что. Мне уже пришлось заплатить дорогую цену, я не хочу переносить остальных потерь.

По сути, я мог бы проговорить, что у нашего *le Bel* осталось лишь три колена и менее ста лет, и мои слова бы приняли за проклятье. Но это пророчество слишком хорошо известно, даже

один из *наших* поэтов написал: «Настанет год, России черный год, когда царей корона упадет». Как и то, что нынешние Двенадцать падут за 10 лет. И что мое время подходит к концу.

Впрочем, они могут и не трудиться: я слишком болен, чтобы тратить на меня пули, кинжалы и яды. Естество возьмет свое быстрее. У меня не осталось сил на полноценные проклятья и на полноценный отпор. Если им нужна только моя жизнь, и они при этом не тронут Дотти, Поля и Алекса, я буду готов. Но они не торгуются.

Пока я здесь, рядом, на виду Свиты, и никого среди Братьев нет. Так нужно... И есть надежда, что на мне все и остановится.

Приписка рукой княгини Марии Волконской:

/Мой крестный отец св. князь Христофор Андреевич Ливен ушел на Небо через месяц после того, как написал эти строки.

На нем все и остановилось. До поры до времени.

Он составил верность тем, кому поклялся быть верным.

Его последние слова мне: *Der elfte ist der nächstste.* (Одиннадцатый – следующий).

Я не пойму, что это означает./

Глава 1

CR (1819)

Меня часто спрашивают, узнав, как я начал свое восхождение к власти и каким государем был я наиболее обласкан – «Действительно ли император Павел был безумцем?» Что за наивность задавать такие вопросы – будто бы я отвечу правду! Но, впрочем, кажется, вопрошающие об этом даже не смеют мечтать.

Мой ответ обычно звучит довольно подробно, так, что ни у кого не хватает сил дослушать его до конца. Потому как сказать «да, Россией пять последних лет прошлого столетия правил сумасшедший» было бы слишком опрометчиво, но и начать уверять собеседников в том, что покойный Государь был совершенно здоров и трезвомыслящ, я бы тоже поостерегся. Приходится выбирать нечто среднее, а людям, как правило, неинтересны оговорки, им нужно черное или белое, без полутонов. Жизнь же гораздо сложнее.

Сейчас, когда мы похоронили другого, на сей раз, истинного безумца, являвшегося, пусть и номинально, королем (*имеется в виду король Георг III, за которого правил принц-регент – прим. автора*), будет мне уместным написать о том, как игры разума власть предрежащих влияют на них самих.

Итак, в сугубо медицинском плане Павел Петрович безумцем не был, в отличие, например, от покойного короля Георга, чья душевная болезнь явилась следствием физического состояния. Его разум угасал вслед за угасанием тела. Кроме того, истинные душевнобольные часто проявляют слабость в логических суждениях, их поступки нелепы и странны для каждого. Скажу честно – решения нашего покойного государя были хотя и скоропалительны, и неожиданны, но в них была своя, пусть и извращенная, логика. Он просто хотел уничтожить инакомыслие, как его видел. А видел он его повсюду. Это называют безумием, но стоит вспомнить, как он кончил, что все его ночные кошмары, в конце концов, сбылись, как окажется – несколько это не безумие. Это называется тиранией. А тиран и сумасшедший – это далеко не одно и то же. Об этом я тоже когда-то говорил с графом Строгановым, и тот произнес, что полагает тиранию родом опасного безумия, на что я отвечал, что, напротив, каждый человек несет в себе зародыши деспота, но не всем дается власть в той мере, в которой ее можно проявить. Стремление к деспотии может быть умерено лишь просвещением, но с ним, как всегда, возникают большие проблемы.

Так вот, с точки зрения Поля Строганова, его царственный тезка был никем иным, как сумасшедшим. С моей точки зрения, он был обычным деспотом, хотя и не безнадежным. От природы он был добр и благороден, и мне часто казалось, что, родись он лет на 500 ранее, да и не в России, а, скажем, во Франции или Британии, то из него бы получился государь-рыцарь, вроде Ричарда Львиное Сердце или Людовика Святого, милость, щедрость и набожность которого прославляли бы в балладах. Павел Петрович и сам это чувствовал, отсюда его желание взять под свой протекторат госпитальеров, более того – сделаться их Магистром, отсюда его живой интерес к нам, рыцарям современности, желание пройти Посвящение, от которого его еле отговорили, отсюда его склонность к мистицизму, строительство замков, белый супервест с алым подбоем за спиной... Но условия, в которых он воспитывался – постоянное пренебрежение матери, считавшей сына копией своего отца, интриги, жертвой которых он часто оказывался, унижения, через которые он проходил – сделали покойного государя таким, каким он стал. Само благородство его и желание изменить жизнь в России к лучшему обернулось жестокой деспотией, главной жертвой которой пал он сам. Но стоит ли называть деспотию безумством? На этот вопрос нет однозначного ответа, и в споре со Строгановым мы остались каждый при своем мнении.

Другой вопрос: «А как же *вы* стали его любимцем?» мне редко кто осмеливается задать. Обычно все думают, что и так знают ответ: тираны – и сумасшедшие – часто приближают к себе случайных людей, которых полагают по какой-то своей причудливой логике преданными и способными. Гатчинский сержант Аракчеев, брадобрей Кутайсов, актриса Шевалье, Растопчин, Безбородко, многие другие – в эту разношерстную компанию я, юный сын царской няньки, вписывался как нельзя лучше, и мое повышение стало одним из многочисленных капризов государя. Это и так, и не так. И исполнение обещанного мне Армфельдом, и собственная инициатива государя.

Коронация Павла Петровича началась перезахоронением праха несчастного отца, убитого по допущению *die Alte Keiserin*. Этой церемонией государь словно заново заключал брак родителей. Я на ней не присутствовал. Мне вообще сложно сказать, чем я занимался весь Девяносто седьмой год, словно он выпал у меня из памяти, так же, как и все мое детство до восьми годов. Помню только, что я занимался изучением ружейных артикулов в первую половину дня, во вторую же – пропадал на каких-то пьянках и в театрах, даже завел роман с одной примой-балериной. Ежедневно я бывал у матушки, выслушивал свою долю наставлений и ее соображений, которым следовать у меня получалось без особого напряжения. Так продолжалось до лета Девяносто восьмого года, когда один разговор с императором решил мою участь и вознес на высоту, с которой падать было бы очень болезненно. Но я удержался, как видите, и держусь до сих пор.

Май 1798 года, Гатчина.

– Как полагаете, шпаги лучше эспантонов? Зря полагаете, это не так, от шпаг один бардак... Пусть служат с эспантонами, это благородно, по-рыцарски... Да, по-рыцарски, – император Павел говорил куда-то в сторону, не глядя на своего собеседника, одного из флигель-адъютантов.

– Надо про это написать рескрипт. Возьметесь? Или лучше я сам, – продолжал он, краем глаза замечая, что за окном наконец-таки пошел дождь. Духота весьма досаждала, тучи низко нависали над парком все утро, готовые пролиться ливнем, из-за чего чуть было не сорвался обещанный парад.

– Воля стихии нам не покорна, – произнес Павел вслух, резко меняя тему. Кристоф – а этим флигель-адъютантом был именно он – был готов пожать плечами, но воздержался от подобного опрометчивого жеста, ибо не знал, как отреагирует его царственный визави. Они уже обошли всю галерею дворца по три раза, и ныне завершали четвертый круг. Барон недоумевал, чего ради его – именно его – вызвали к государю и ведут с ним пространные разговоры. Павел Петрович постоянно задавал какие-то вопросы, на которые сам и отвечал, а эти вопросы почти не касались Кристофа лично. Он даже не осмеливался спросить, что все это означает.

– Очень жаль, что непокорна, – продолжал государь. – Значит, приходится приспособляться. Как вы думаете?

Павел резко остановился у окна, и Кристоф чуть его не сбил с ног.

– Простите, – проговорил он. – Что же до дождя, то к вечеру должен окончиться.

– Смотрите, – усмехнулся государь. – Ежели соврете... И он шуточно пригрозил пальцем. Кристофу все это уже начало надоедать.

Они отошли от окна и перешли в соседнюю комнату. На пороге император снова остановился и обратил на барона взгляд своих серых, навывкате, глаз, словно изучая каждую черту его лица. С тех пор, как из одного сражения он вышел с сабельной раной на правой щеке, Кристоф очень нервно относился к тому, что его пристально разглядывают, поэтому невольно покраснел.

– Про вас мне рассказывали, – отрывисто произнес государь. – У Ее Величества рассказывали.

Судя по интонации, с которой это было сказано, повествование оказалось не совсем приятным государю. «Эх, наверняка Mutterchen подсуежилась», – подумал он. – «Уж она поведает такую драму, что хоть на театрах ставь».

– Стыдно, – продолжал Павел Петрович, подпустив в голос нотки упрёка. Теперь он уже не глядел на своего собеседника – его отстраненный и задумчивый взор был обращен куда-то вперед.

– Какой стыд, – повторил он уже громче. – Какой стыд, что вы остались без награды!

С этими словами он проворно отцепил от своего мундира звезду св. Анны 1-й степени и прикрепил на грудь Кристофа. Тот стоял, не шевельнувшись. Первым его порывом было начать отнекиваться. Но потом вспомнил матушкин завет: отказ от милостей равен выпрашиванию милостей незаслуженных и нисколько не возвышает отказывающегося. Потом он поклонился и поцеловал руку нового монарха.

После этого разговор потек поживее.

– Вы с жакобинцами сражались в их логове? Похвально, похвально... Мне надобно возобновить эту борьбу. А для сего люди нужны, и вот я вас нашел, – продолжал Павел, словно убеждая самого себя. – Экспедиционный корпус следует послать, вот что я полагаю. Давно пора, и без того уже десять лет промедления. А я предлагал... Для чего, вы думаете, Гатчинский полк? Вот для этого... Сказали бы мне ранее, я бы вас раньше полковником сделал. Так нет же. Замалчивали.

Они проходили мимо портретной галереи, и Павел с явной ненавистью посмотрел на изображение своей матери, завершающее собой цепочку портретов европейских и российских государей

– Вы, небось, тоже считали, что я всё время глупости предлагал?, – с неожиданной злобой в голосе произнес Павел.

– Никак нет, Ваше Величество, – поспешил вставить Кристоф, но государь не сильно вслушивался в его слова.

– Вот так вот, все либо смеялись, либо жалели, а сами-то упустили и развели под носом жакобинский цветник, – продолжал Павел. – Меня нынче все, надо думать, поносят за то, что диктую свою волю в мелочах.

– Не поносят, Ваше Величество, – снова возразил барон.

– Не врите, – отмахнулся Павел. – Уж я-то знаю. А я вам скажу – вовсе это и не мелочи. Если на них рукой махнуть, так разведут помойку... Еще про Пруссию, мол, вспоминают. Мол, русских в пруссаков превращаю. Так у Фридриха не было революции. Никакой! Это все французские нравы. Сами посеяли, вот и пожинают...

Он остановился перед портретом великого властителя, столь почитаемого его отцом.

– И глупости это, что я Россию в Пруссию превращаю. Я учусь у тамошнего покойного короля. И империя должна учиться вместе со мной. Вы готовы?

– К чему, Ваше Величество? – у Кристофа до сих пор кружилась голова от внезапности награждения.

– Как к чему? К новому веку!

– Так точно, – только и смог вымолвить барон. Он плохо представлял, что ему скажут дальше.

– Я хочу, чтобы вы мне докладывали по военным делам, – продолжал Павел Петрович, отойдя немного в сторону. – На плац-парадах можете не присутствовать без моего на то особого распоряжения, но при мне находитесь неотлучно. А вы что, до сих пор подполковник?

Кристоф подтвердил и этот факт.

– За повышением дело не станет. Впрочем... – взгляд императора вновь сосредоточился на нем. – Вы же начинали адъютантом Потемкина?

– Никак нет, Ваше Величество, – барон словно почувствовал, как пальцы государя отцепляют от него вышеуказанную награду, а следующим повелением его отправляют куда-нибудь в Саратов.

– Мой брат был его адъютантом, – продолжил Кристоф, чувствуя, как кровь отливает от лица. – У вас много братьев. Какой из них? Старший? Который герой Праги? Ничего, – проговорил с неожиданной легкостью в голосе Павел Петрович. – Он же не по своей воле тогда... Этого надо повысить, пусть командует преображенцами.

«Mein Gott im Himmel», – прошептал про себя барон. За окном бушевал дождь, ветер выламывал деревья парка, и он чувствовал себя под стать погоде.

– Так вот, – продолжал император. – Революции отчего случаются? Государи пренебрегают мелочами, а вслед за ними – и подданные, и все катится насмарку. На малых сих тоже никакого внимания, а они-то все и начинают... Аргуа никогда не добьется престола, говорите? Охотно верю. Тут к нам его брат жалуется, надо бы вам его встретить... Митавский замок не больно ли скромен для них?

– Скорее, напротив, более чем роскошен, – отвечал барон. Император только рассмеялся. Кристоф понял, что ему отдали приказ, и только поклонился. Павел продолжил говорить, как он лично презирает Бурбонов, но без легитимности никак, что все-таки он надеется на *красивый* (так было сказано) исход дела и экспедиционный корпус все-таки пошлет. При последних словах он так посматривал на своего юного флигель-адъютанта, что тот грешным делом вообразил, будто во главе этой армии поставят именно его.

Между тем, дождь прекратился, на что император немедленно обратил внимание, прервав самого себя на полуслове.

– Вот видите, – обернулся он к Кристофу. – Вы не соврали. Откуда узнали, что дождь закончится?

– Догадался, Ваше Величество.

– Так вы умелец угадывать? Такие мне и надобны, – Павел положил руку барону на плечо, невольно задев раненное место, которое у того нынче ныло, как часто бывало в непогоду. Кристоф постарался, чтобы выражение его лица не выдало болезненных ощущений.

– Итак, через месяц сей самонареченный король придет, а вы его устроите в Митаве. С вами поедут адъютанты. Берите, кого захотите. А с ним можете не церемониться, он же не брат его, – продолжал император.

«Такова судьба моя, весь век быть близ Бурбонов», – подумал потом Кристоф, прибыв к себе. У него по-прежнему болела старая рана, и, сняв мундир, он увидел, что левая сторона рубашки испачкана подсохшей кровью. «Он меня погубит», – отчего-то подумал барон и тут же отогнал от себя эту мысль: как он вообще смеет об этом размышлять? Но ничего другого не оставалось. Приходилось так же признаваться, что энергичность императора невольно заражала и его самого. Хотя он до сих пор не мог растолковать себе, каким образом круглые шляпы на городских улицах и горящие после десяти часов вечера огни могут вызвать революцию, сам факт изменений заставлял его надеяться на лучшее. В том числе, и для самого себя.

Глава 2

CR (1819)

Восстановление Бурбонов на престоле Франции показалось многим фарсом, но их легитимность была доказана, и британский парламент постановил, что хочет видеть на престоле или д'Артуа, или его брата, графа Прованского. Никаких уступок, это было фактически ультиматумом. Я очень хорошо понимаю нашего Государя, который изначально выступал против восстановления Бурбонов на троне Франции. Во-первых, французские подданные уже научились их презирать, да и было за что. Никто из них не решился явиться в назначенный час и спасти тех, кто готов был за них отдать жизнь, кто начертал их герб на своих знаменах и полил своей кровью одну четвертую часть королевства. Кроме того, народ во Франции расколот на несколько партий, и Луи Восемнадцатый, живущий грезами прошлого века, очень неохотно пошел на уступки той, которая была настроена к нему враждебно. Кое-как монархия сохраняется, но, чувствую, не надолго.

Меня полагают «другом Бурбонов» и одним из заступников за них перед лицом Государя и даже Британского Парламента (хотя среди последнего своих сторонников «легитимных королей» хватает). Все потому что я слишком много времени провел при «дворах» что графа д'Артуа, что короновавшего самое себя Луи Восемнадцатого.

Возможно, мои строки читаются как lamentации старика, скорбящего о временах своей юности, но не могу не удержаться от того, чтобы сказать: сейчас грядут времена посредственностей на верху и ярких личностей на самом низу. Все почти как в 1780-е. Остался лишь наш Государь в окружении своекорыстных политиков, ведущих себя, словно шулера за карточным столом, а также полных нулей, вроде вышеупомянутых Бурбонов. Ранее у нас был общий враг, с которым бороться могли лишь яркие личности, а «законные государи» в это время были защищены британской армией и флотом и не желали знать о том, что происходило на континенте. Зато нынче пришли на все готовое и еще недовольны тем, что их мало любят. Я не удивлюсь, если завтра с курьером придет новость об очередном восстании в Париже. Впрочем, нынче зима, а воевать и устраивать народные волнения в столь суровый сезон могут, разве что, на моей родине.

Обращусь к событиям лета и осени Девяносто восьмого года, когда я окончательно уверился в истинном политическом значении Бурбонов, а особенно нынешнего короля. В одно прекрасное утро на пороге моей спальни предстал камердинер Якоб и протянул переданный через фельдъегеря рескрипт. В нем сообщалось, что меня жаловали в генерал-майоры, минуя сразу два звания. И что я становился генерал-адъютантом, то есть, правой рукой Государя. Подобные почести предназначались, в основном, для того, чтобы я мог выступать в качестве влиятельной фигуры при дворе прибывавшего в Митаву Бурбона и свободно диктовать волю нашего императора.

Праздновать новое назначение мне было совершенно некогда, да и не стоило бы. Хотя на меня все смотрели потрясенно, словно я совершил нечто из ряда вон героическое или, напротив, несоизмеримо низкое. Естественно, чуть позже начали повторять различные слухи и твердить о гигантском влиянии «Ливенши», то есть, моей матушки. У нее, мол, сыновья в министры попадают и делают блистательные карьеры, едва выйдя из пеленок. Ей самой жаловали несколько десятин в Ярославской губернии, в дополнение к поместью Мезоттен в Южной Лифляндии, которое мне поручили осмотреть и описать по дороге в Митавский замок. Мой старший брат был пожалован в командиры Преображенского полка, что тоже его потрясло. Даже моему зятю Фитингофу перепало камергерство, а младшему брату Иоганну – звание капитана Семеновского полка и должность адъютанта при Великом князе Александре.

В общем, наш фавор был абсолютен, и никто не сомневался в том, что же послужило ему причиной. Только я знал, что влияние матери к моему возвышению имеет самое опосредованное отношение.

В компанию мне выдали целую свиту, состоящую из десяти человек, так как, очевидно, посылать к «королю» Луи одного лишь меня было бы несолидно. Матушка настояла на том, чтобы в мои сопровождающие включили брата Йохана. Разница между нами в возрасте составляет всего лишь год, но тогда мне казалось, что нас разделяло целое поколение. Он никогда не воевал, не проливал ни своей, ни чужой крови, не знал истинной любви, предательства – словом, ничего, что уже успел испытать я. В свете прозвали его «Жан-Жак», в честь Руссо, так как, по мнению многих, он олицетворял собой воплощенный идеал писателя – истинное, непосредственное и глуповатое «дитя природы». К тому же, он был рыжий и конопатый, это его мало портило, но выделяло из общей массы, потому стало причиной застенчивости и скованности в свете. Он явно был влюблен, и мне надо было всеми силами отвлекать его от этой влюбленности. В наследство ему досталось наше фамильное упрямство, так что я даже не догадывался, как это лучше сделать.

Другие мои компаньоны оказались не лучше – все какие-то дети высокопоставленных родителей. Впрочем, с одним из них, назначенным, кстати, в мои адъютанты, я даже несколько сошелся, но тому во многом поспособствовало его обаяние и умение нравиться всем. Его звали Александр Рибопьер, и от роду ему было всего семнадцать лет. После гибели отца он был «усыновлен» Двором и быстро стал всеобщим любимцем, благодаря своей хорошенькой наружности и ловкости, чисто галльской. Чем-то он напоминал Фрежвилля по манерам обхождения, из-за этого я наполнился неким предубеждением к нему, но его безусловное восхищение моей особой вкупе с веселым и искренним нравом развеяли мои тревоги.

Также со мной в Митаву явился мой зять Фитингоф, который встретил нас близ Риги. Моя сестрица осталась на хозяйстве и наотрез отказалась «выходить в свет», на что весьма досадовал ее супруг, а я посмеивался – она поступила ровно так же, как и нужно.

Всю нашу компанию радовало одно – покамест мы пребываем в Курляндии, то избавлены от плац-парадов и столичных строгостей, введенных Государем. «Можно считать это поездкой в Париж», – бросил мой адъютант, на что я воззрился на него с ужасом. «В Париж прежних времен», – быстро поправился он. Остальные тоже считали нашу поездку увеселительной, и только я предчувствовал, что будет повторение нашего «сидения» в Хартленде – весьма неселого, надо сказать. Тем более, погода стояла далекой от летней, постоянно лил дождь, как оно и бывает на моей исторической родине, а когда солнце все-таки выглядывало, воцарялась страшная духота, будто в оранжерее.

Опять же, вопреки надеждам, к моему явлению французская сторона отнеслась крайне пренебрежительно. Казалось бы, блуждания самоназванного короля по Европе должны были приучить его к скромности, но он осмотрел Митавский дворец так, словно мы предоставили ему жалкую хижину, а не обитель герцогов Курляндских. Помещения едва хватило, чтобы разместить всю свиту и слуг, которые он повсюду возил с собой. Помню, как, наморщив лоб, Луи ткнул своим толстым пальцем в превосходные барочные витражи, бросив мне: «Что за безвкусица! Нужно их немедленно поменять». При этом он взглянул на меня так, словно ожидал, что я немедленно побегу распоряжаться покупкой более угодных Его Величеству элементов декора или, что лучше, самолично установлю их. На это я отвечал как можно более любезно, сопроводив свои слова поклоном: «Ваше Величество, герцог Курляндский заказывал эти витражи у мастеров, делавших зеркала в Люксембургском дворце». На миг изумленный взор его пороссячьих глазок замер на моем лице – словно он услышал, будто заговорил стол или комод. Он не нашелся, что мне ответить, только потом добавил:

– Хорошо, я постараюсь привыкнуть. И не в таких местах приходилось жить.

Я вспомнил, что в Пруссии, по слухам, вся королевская рать теснилась в трехкомнатной квартирке над лавкой. Здесь же ему отвалили целый дворец, и он готов был немедленно начать вести образ жизни, сообразный его статусу. В тот же день я выдал ему деньги, которыми меня снабдили от лица Государя, и эти средства были сразу же потрачены на всевозможные роскошества. Все придворные церемонии стараниями короля и его свиты были возрождены, в том числе, lever и coucher, и складывалась явственная иллюзия, будто мы пребываем в Версале прежних времен. Регулярный парк, разбитый вокруг Дворца, приемы, на которых помимо французских дворян, столы на сотни кувертов дополняли такое впечатление. На одном из таких lever, когда король, пардон, восседал в неглиже перед зеркалом и его приводили в пристойный вид не менее двадцати слуг, он и обратился ко мне, скромно стоящим вместе с адъютантом в сторонке:

– Послушайте, а вы что, тот самый de Lieven, который был правой рукой моего брата при Кибероне?

«О Боже», – подумал я. – «Они же никогда не переписываются. Да и на Киберон я не попал, иначе бы с ним не говорил нынче».

Я подтвердил сказанное.

– У него никогда ничего не выйдет, – проговорил он, словно в пустоту. – Его Высочество отказывается брать на себя ответственность за что-либо.

На меня король не смотрел, сосредоточившись на своем отражении, еле помещавшемся в зеркале. Я понимал, что мог и не отвечать на его реплику.

Прежде я никогда не полагал, что буду когда-либо защищать графа д'Артуа, которого так долго презирал за нерешительность. Но мне так и хотелось вставить: «Зато он хотя бы пытался сделать что-либо для Франции. Вы кочуете из страны в страну, молитесь за свое королевство, но никогда ничего не совершаете ради него, хоть и считаетесь наследником французской короны».

– При брате нашем, – помпезно заговорил Луи, оглядываясь на примостившегося недалеко от его туалетного столика секретаря с пером и чернилами наготове. – При брате нашем состоит слишком уж много случайных людей, иностранцев и авантюристов. А он удивляется, что ничего не сможет устроить. Мы же здесь все истинные французы.

И взоры всех присутствующих обратились на меня и моего адъютанта Рибоьера, «не истинных французов». Я заметно побледнел. В тот миг я понимал чувства парижской толпы, ополчившейся на его брата. Если все Бурбоны так вели себя и отказывались свое поведение менять, то понятно, почему, в конце концов, они довели себя до трагедии. Мой адъютант явно сожалел, что при нем нет шпаги, пусть даже церемониальной, ибо по этикету все присутствующие при lever должны быть безоружны.

– Прошу прощения, – проговорил я как можно более спокойно. – Но далеко не все чужеземцы, как Вы изволите выражаться, пребывают здесь по собственной воле и поручительству. И далеко не все из них вредны.

Мне хотелось добавить, что во французах-эмигрантах мой Государь справедливо видит разносчиков якобинской заразы, хотя многие мои соотечественники с удовольствием принимают их в свой дом – учить собственных отпрысков, быть компаньонами и даже управляющими. И именно с французскими нравами он и решился бороться, верно полагая, что якобинцы не на пустом месте появились, а стали отражением той среды, с которой боролись. Но это было бы чересчур долго.

– Конечно, вы правы, – произнес король. – И о вас говорили весьма лестное. Нам надобно отправить вас в Неаполь.

«Час от часу не легче», – опять подумал я. – «Что мне делать в Неаполе? И я вроде бы не его подданный, чтобы он так вольно распоряжался моими перемещениями».

– Вам необходимо встретить нашу племянницу Мари-Терезу. Надеюсь, и она преуспеет от щедрости вашего Государя.

Ее Высочество Мари-Тереза – дочь Луи Шестнадцатого и Мари-Антуанетты, и могла бы претендовать на престол Французского королевства, если бы не салическое право, отказывающее ей в праве занимать престол. Она странствовала по Европе вместе с ближайшими родственниками, могла бы уехать к д'Артуа в Шотландию, но колебалась, находясь под влиянием другого своего дяди, который нынче и сидел спиной ко мне.

– Я готов передать письмо с соответствующим распоряжением Вашего Величества своему Государю, – проговорил я. – И далее я лично позабочусь о сопровождении Ее Высочества в столь неблизком пути.

– Вот как? Вам необходимо так много времени? Впрочем, нам понятно, – произнес Луи, словно опомнившись от морока. – Мы отпишем императору Павлу.

Далее мне дали понять, что аудиенция окончена. Мы с Сашей Рибопьером вышли из опочивальни короля, и тот не сводил с меня восхищенных глаз.

– Как вы его... – прошептал он. – Не боитесь ли, что вам этого не простят?

– А что он мне может сделать? – я говорил по-русски, зная, что этого языка никто здесь не поймет.

– Но он же...

– Мой друг, – проговорил я снисходительно. – Даже такие, как он, ничего не могут поделать, встретившись с прямоотой и откровенностью.

Фраза эта стала моим жизненным кредо. Я убедился в том, что люди испытывают наиболее сильные чувства, услышав или увидев правду. А тот, кто возвещает правду, становится либо их врагом, либо кумиром. Не знаю, как насчет вражды, так как для Луи Восемнадцатого я предстал довольно незначительной личностью, но верного поклонника и друга я себе приобрел. Впрочем, завоевать восхищение семнадцатилетнего юноши – равно как и девицы примерно тех же лет – невелика заслуга.

О моем поведении при lever Его Французского Величества узнали все мои сопровождающие, из тех, кто не присутствовал при этом, и мнения разделились. Фитингоф напустился на меня, а братец с тех пор начал глядеть на меня еще более «снизу вверх».

Наше пребывание в Митаве было бы веселым, если бы не бесконечные тонкости этикета, которые мы были вынуждены соблюдать дословно. Все придворные словно сговорились, изображая «маленький Версаль» в нашем остзейском городке, обитатели которого доселе о таком только читали. Разумеется, все окрестное дворянство жаждало получить доступ во дворец, и меня с моими ближними просто атаковали просьбами, припоминая всю сложную систему родства. Право, такого нашествия моих троюродных кузенов, мужей двоюродных тетушек и внучатых племянников моих дядей я давно не испытывал. Просьбы их, однако, простирались много дальше приглашения на балы и приемы в Mitau Schlosse. Прослышав о моей «стремительной карьере», эти родственники, которые ранее ни о ком из фон Ливенов не вспоминали, стремились разузнать, а не могу ли я как-нибудь подсобить в их делах. У кого были дочери на выданье, всеми правдами и неправдами сватали их то мне, то Иоганну. Мы с братом начали нешуточно опасаться, что не покинем Курляндию холостяками.

На балах в герцогском дворце бросался в глаза разительный контраст между придворными и нашими курляндцами, конечно, не в пользу последних. Я знал, что мои соотечественники вызывают у *monsieurs et medames* определенные насмешки из-за их деревенских манер, скверного французского, который придворные притворялись подчас, что не понимают, недостаточно модных туалетов и недостаточной ловкости в танцах. Ответные приглашения в имения отвергались, и даже мой *beau-frère* Фитингоф повесил нос, когда некий маркиз надменно отказался от предложения провести недели две в Мариенгофе, которым Бурхард так гордился. Мне было крайне обидно видеть, как эти оборванные «сливки общества» из *les émigrés*, мня-

щие себя «влиятельной силой», брезгуют теми, кто, непритворно восхищается ими и сочувствует их беде. Из-за моего возмущения столь черствой неблагодарностью я вступил в конфликт с одним из сопровождающих. Что интересно, он тоже был из die Balten. Но об этом чуть позже.

Надо признать, меня весьма беспокоило состояние моего младшего брата, который пребывал в настолько подавленном состоянии, что внимание ветреных дочек и жен эмигрантов, игры, танцы и охота оказывались перед этим бессильны. Он рано отходил к себе, но не спал, а все жег свечи, что-то писал или читал до самого утра. Собственно, сам я до поры до времени не решался его беспокоить расспросами и нравоучениями, зная по себе, что они будут бесполезны. Но я ощущал смутную тревогу. Невольно наш несчастный брат, покончивший с собой, приходил мне на ум. Я знал слишком хорошо по самому себе, что в минуты отчаяния совершенно не думается ни о Господе, ни о ближних, есть лишь одно желание – поскорее покончить с болью, которую причиняет тебе существование... Поэтому, ничего Йохану не говоря, я попросил моего слугу Якоба потихоньку следить за тем, что он делает, и докладывать мне, если заметит нечто настораживающее. Тот и доносил мне: «Читает, пишет до самого утра» всегда таким тоном, так, словно Иоганн заряжает пистолеты или творит заклинания во славу Сатане. «Ну, читает и пишет, похвальные занятия», – усмехался я. – «А что читает?» Якоб разузнал и это. Мой брат читал Goethe, «Страдания юного Вертера». Тогда-то мне и стало страшно. Ведь известно, что в этой книге прославляется самоубийство из-за несчастной любви. Но я опять-таки отогнал свои страхи. Менее всего мне хотелось изображать ханжу, врываться в его комнату, отбирать проклятую книжку и отчитывать брата за недозволенное времяпрепровождение. Роли няньки и подопечного, которые на нас навешала матушка, нас обоих и так несколько тяготили, а тут еще вмешиваться в его личную жизнь... Но, чем дальше шло дело, тем более я понимал, что нам необходимо поговорить по душам. Вот это сделать было сложнее всего. Ни я, ни Йохан не отличаемся открытым нравом, располагающим к подобным разговорам. К тому же, все эти годы, что я провел вдаль от Петербурга, в войнах, поездках, особых поручениях, сильно отдалили нас, в детстве почти неразлучных. Поэтому я оттягивал момент разговора до тех пор, пока совсем не стало поздно.

...В ночь на 16 июля, в разгар сильной жары, когда все окна стояли нараспашку, меня от чуткого и нервного сна пробудил резкий выстрел. Поначалу я подумал, что я снова вижу сон про сражение и перевернулся на другой бок. Но потом опомнился: мы же в Митаве, в герцогском дворце, полном французских эмигрантов! С здесь чего по ночам стрелять? Я растолкал Якоба и спросил, слышал ли он подозрительное, и он забил панику: «Это же оттуда...» Он показал направо, туда, где находились покои, выделенные моему брату. Я немедленно помчался туда, охваченный тревогой. Двери были закрыты, а из щели на полу пробивался свет. «Ломать придется», – подумал я, прежде чем дверь распахнулась, и на пороге объявился ничего не подозревающий камердинер Йохана, Клаус. Увидев выражение тревоги на наших лицах, он недоуменно воззрился на нас.

– Где герр барон? – спросил я. Тот проговорил:

– А вы разве не слышали? Там стрелялся кто-то, вот герр Йохан и поглядеть вышел.

Я, не очень доверяя словам этого растяпы, оглядел комнату, и, найдя ее в совершенном порядке, облегченно вздохнул, при этом ощущая иррациональную злость на брата за то, что заставил меня паниковать. Я пообещал себе, что немедленно найду его и обрушу на него весь свой гнев. Покажу ему, как читать книжки про сентиментальных самоубийц. Ежели будет роптать – добьюсь того, чтобы его законопатили в такой гарнизон, где, как говорится, Макар телят не гонял. Хоть за Полярный круг, к белым медведям. Будет знать, как влюбляться в великих княгинь и мнить о себе невесть что!

Двери покоев, занимаемых шевалье де Шарлеруа, были открыты нараспашку. Народ толпился, переминался с ноги на ногу и шептался. Я не увидел Йохана, но заметил своего адъ-

ютанта, весьма ловко поддерживающего за талию некую бледную даму, очевидно, напуганную увиденным. На мой вопрос, что же здесь стряслось, он отвечал только:

– Шевалье покончил с собой. Или же его убили. Кошмар!

Протискиваясь сквозь плотные ряды дам и кавалеров, а также их челяди, я вошел в дверь. В нос немедленно бросился запах крови. Ею был забрызган пышный белый персидский ковер, обивка дивана, вокруг которого уже суетились доктор, слуга покойного, с заплаканным лицом, двое лакеев – и еще какая-то женщина, высокая и худая, в белом кружевном пеньюаре и чепце, показавшаяся мне смутно знакомой.

На меня оглянулись все, в том числе, и она. И тут я вспомнил, где я видел ее лицо. Амстердам, один доктор из Общества Розы, его дочери... Это старшая. Фредерика, по-домашнему – Фемке. Что она делает здесь?

Она узнала меня первой и проговорила:

– Барон... фон Ливен?

– Фредерика ван дер... ван дер Шанц?, – я силился вспомнить ее мудреную голландскую фамилию и проговорил ее на немецкий манер.

Она слегка улыбнулась, не поспешив меня исправлять, и прошептала:

– Теперь Леннерт.

– Как вы здесь оказались?..

– Тот же вопрос хотела задать и я, – мы чуть отошли от места трагедии и разговаривали шепотом. – Долго объяснять.

– Аналогично, – ответил я. – Впрочем, здесь не место...

Я оглянулся на тело несчастного, почти полностью закрытое простыней. Попытался вспомнить его – облик ускользал от моего умственного взора. Таких много, слишком много в этом импровизированном Версале.

Мое лицо, верно, настолько побледнело, что моя спутница взяла меня за руку и проговорила:

– Давайте выйдем отсюда. Все равно ему ничем не поможешь. Пытался стрелять в сердце, но не попал. Это не так уж просто, как понимаете. Ему хватило сил перезарядить пистолет и покончить с собой выстрелом в голову...

Я вспомнил, что слышал всего один выстрел, но мог и ошибаться.

– Сейчас просто чума какая-то, – продолжала мевrouw Леннерт. – Многие знатные молодые люди стреляются.

Я упомянул про новую книжку Goethe, на что моя знакомая пожала плечами и проговорила:

– Вряд ли одна книга может заставить человека прибегнуть к таким отчаянным поступкам. Говорят, что Шарлеруа был обручен. Но писем от невесты долго не получал. Потом он отписал ей, оказалось, что она уже замужем...

Ее позвал доктор, и она, улыгнувшись мне напоследок, что казалось бы неуместным в подобных обстоятельствах у любой другой, вернулась к холодному телу несчастного шевалье. Мне оставалось только гадать, почему же Фредерика присутствует в комнате самоубийцы наравне с доктором. И как она вообще оказалась при «дворе» Людовика. Впрочем, времени на расспросы и предположения у меня не было, и я поспешил найти брата.

Следующий день оказался столь же суматошным, что и утро. Королю, как видно, не доложили о гибели одного из членов свиты, или же, что более вероятно, рассказали не всю правду. Фредерику я видел несколько раз, и все в компании доктора, мрачноватого великана. Тому поручено было привести тело в порядок, чтобы похоронить несчастного хотя бы в открытом гробу, раз уж религия не позволяла провести ритуал по всем правилам. Моя знакомая сновала туда-сюда с различными медицинскими принадлежностями, не забывая, однако, при встрече неизменно улыбаться мне. Я не смел отвлекать ее от занятий, думая при этом, что нет ничего

удивительного в ее помощи доктору – помнится, отцу своему она тоже весьма активно ассистировала. Но где же нынче ее отец? А сестра, полуслепая Аннелиза?

В тот день, оказавшийся у нас свободным, мы с Йоханом направились на конную прогулку. И я вновь почувствовал, что наш разговор откладывать далее невозможно.

Удивительно, что с ближними по душам мне говорить подчас сложнее, чем вести много-часовые дипломатические переговоры с опытными политиками.

Мы направились к местечку Мезоттен, которое недавно стало владением нашей семьи. Располагалось оно в двадцати верстах от Митавы, так что мы могли не спеша потратить на поездку весь день. Погода стояла в кои-то веки великолепная, и волей-неволей мрачные тучи в моей душе стали рассеиваться. Я подумал, что сей несчастный, верно, должен был совсем с ума сойти, чтобы лишать себя жизни в столь прекрасные летние дни, а не в разгар меланхолической осени или серой зимы. Наш путь пролегал по лесам и лугам, и мы сначала болтали ни о чем – о лошадях, которых я собирался купить у одного из местных помещиков, чьи имения мы проезжали, об охоте, когда-то предмете нашего обоюдного интереса, к которому я нынче несколько охладел, а Йохан по-прежнему увлекался. При этом я чувствовал, что и моему брату стыдно за то, что он наговорил мне ночью. Наконец, я, словно невзначай, начал обсуждать женщин и заговорил о своей предполагаемой миссии в Неаполь.

– Ну, это слишком для тебя, – признался Йохан.

– Ты прав, – вздохнул я. – Но я могу похлопотать, чтобы туда отправили именно тебя.

Жан-Жак помрачнел и отвечал, что более всего желает вернуться в Петербург.

– Никто не хочет видеть тебя в Петербурге, – серьезным тоном возразил я.

– Под этим «никто» ты понимаешь матушку? – он поглядел на меня серьезно.

Мы уже приближались к конечной точке нашего путешествия. Дорога шла мимо реки, прозываемой местными Лиелупе, широкой, петляющей между заливных лугов. Мезоттен располагался на другом, более пологом берегу. Мы приблизились к кирхе из красного кирпича, отчаянно нуждающейся в перестройке, и небольшому кладбищу.

Я посмотрел на другой берег, на постройки имения, принадлежащего прежде баронам Медемам. Брат тоже спешил и последовал за мной. Мы еще раз обсудили, сколько здесь душ, какова примерно годовая сумма оброка, и сошлись на том, что при желании можем переплюнуть прославленный Мариенхоф нашего beau-frère'a.

– Но, уволь, этих идолов каменных ставить – это лишнее, – категорично проговорил Йохан. – Да и матушка вряд ли разрешит.

– Она здесь вообще бывала?

– Ни разу. Видела только на чертежах. Но думает нанять самого Кваренги для постройки дома. Ей очень нравится Элея, милое местечко. По подобию тамошнего господского дома и строиться будем.

– Да, и барышни там тоже миленькие, – усмехнулся я.

– Медемы – не про нашу душу. Они ж теперь родня самим Курляндским.

Герцогини Курляндские – еще один предмет разговоров здешних кумушек. Все относились к ним так, как к моей бывшей возлюбленной и родственнице Юлии фон Крюденер – эти дамы нарушают все мыслимые и немыслимые правила нравственности, а все почему – потому что «денег некуда девать», как всегда говорила матушка, когда речь заходила о чужой экстравагантности. У нас, строго говоря, в Девяносто восьмом с деньгами тоже все обстояло более чем благополучно, но, казалось, никто из нас, не исключая и меня самого, не мог в это до конца поверить. Все, что пришло, может уйти ровно так же – волей Государя. В тогдашних обстоятельствах такой исход событий был более чем вероятен.

Далее мы начали обсуждать архитектуру, и в ней у нас – что неудивительно – оказались одинаковые вкусы. Заглядывая вперед, могу сказать, что дворец, возведенный в Мезоттене, вполне этим вкусам отвечает, хотя матушка всегда говорила, что ожидала увидеть нечто куда

более практичное. Белые колонны, полукруглый купол бальной залы, французские окна, распахивающиеся в сад, внутри – мрамор и малахит, и окружает все это великолепии романтический английский парк, план которого начертал сам Йохан после своей отставки, когда он здесь зажил большим баринном.

...Мы спустились вниз, к мосту. Наша беседа продолжалась в том же ключе – лошади, дома, цены на них – пока я не осознал, что говорю, в основном, я, а Жан-Жак отмалчивается. Потом он произнес:

– Откуда ты знаешь жену доктора Леннерта?

Я понял, что он услышал мой разговор с Фемке и вообще замечает гораздо больше, чем я думал.

Я пространно заметил, что знал ее в Девяносто четвертом году, в Амстердаме, не вдаваясь в подробности своей миссии. Сказал просто, что останавливался в их доме. Потом задал встречный вопрос:

– А отчего ты подумал, что она жена доктора?

– Про доктора Леннерта говорят, что супруга его ассистирует ему постоянно. Вот я и убедился в этом воочию.

Потом он осторожно добавил:

– У тебя с ней сложились дружеские отношения, как погляжу. Даже более, чем дружеские.

Я воспользовался случаем, чтобы повернуть разговор на его отношения с великой княгиней. Хотя я не был уверен, что там вообще речь шла о каких-то сложившихся отношениях. Скорее, о его грезах и ее невольном легкомыслии.

– И до тебя дошли разговоры, – вздохнул он.

– Так это просто разговоры?

Жан-Жак странно посмотрел на меня.

– Ты ее любишь? – продолжал допытываться я. – Она об этом знает?

В ответ брат слегка приподнял манжету своей рубашки. Я увидел узкую полосу плетеного из каштановых волос браслета на его запястье.

– Mein Gott, – только и смог сказать я. – У вас было уже и объяснение?.

Йохан только головой покачал.

– Как же у тебя это оказалось?

– Она мне передала.

Лицо его носило глуповато-пространное выражение, какое бывает у всех влюбленных. Я понял всю правоту действий моих родственников. Оставалось только догадываться, ходят ли упорные слухи о их романе по всему Зимнему дворцу, или же нет.

Признаюсь, тогда моя злость распространилась не только на Йохана, но и на эту монаршую особу, которой сильно льстило внимание моего брата. Она играла с ним и, верно, прекрасно сознавала, что последствия этой игры прежде всего коснутся его. Как отреагирует на новость о связи своей жены Константин, неясно. С одной стороны, юная его супруга несколько тяготила его, с другой – кому понравится, когда она ставит рога сама?

– Вот что. Тебе вообще при Дворе бывать нельзя. Я постараюсь приискать тебе назначение...

– Нет! – вскричал брат. – Все о том говорят, но нет.

– Ты сам погибнешь, и нас всех за собой утянешь.

– С твоим нынешним положением при Дворе? – брат смерил меня взглядом. – Это вряд ли.

– Положение при Дворе непрочное. Наговорят что-нибудь...

– Но я не смогу без нее, – вздохнул Йохан.

– Ты думаешь, что тебе дадут какие-нибудь авансы? – проговорил я, все более злясь на брата. Потом я вспомнил – когда-то я тоже принял решение остаться с любимой, чуть не стоившее мне жизни. Какое право я имею судить? Но те воспоминания до сих пор были слишком болезненны для меня, чтобы я им предавался, а тем более – делился.

– Даже не надеюсь, – выдохнул он. Его покрытое веснушками лицо сделалось совсем багровым.

Я опять вспомнил о браслете, сплетенном великой княгиней из пряди собственных волос. Нет, эта девица горазда играть с огнем и пойдет дальше. Если ее, конечно, не остановит здравый смысл или вмешательство кого-нибудь другого.

– Королю Людовику нужно кого-нибудь послать в Неаполь, – заговорил я, как о чем-то постороннем. – Следует забрать оттуда его племянницу Мари-Терезу и привезти сюда. Тут он обвенчает ее с сыном, герцогом Ангулемским.

Жан-Жак воззрился на меня удивленно, не понимая, к чему я клоню.

– Ты поедешь вместо меня, – жестко проговорил я проговорил. Лицо брата выразило страшное отчаяние.

– Я думал, ты на моей стороне, Кристхен, – горько бросил он мне в лицо. – А ты, как они все...

Он неопределенно махнул рукой.

Я лишь плечами пожал.

– Я за тебя, поэтому не хочу, чтобы ты нахватался неприятностей по службе из-за такого...

Йохан резко перебил меня:

– Вы все так печетесь о моей карьере, что прямо удивительно! Нет чтобы признаться, будто ты боишься за себя! Что ты в опалу попадешь из-за того, что великая княгиня изменяет с твоим братом!

Он отвернулся и пошел в лес, туда, где мы оставили коней. Тут бы мне броситься за ним, продолжить уговаривать, но я оставался недвижимым.

Я поспешил за ним, взял его за плечо. Йохан отстранил меня рукой, и я заметил, что глаза его были полны слезами.

– Я верю тебе, – произнес я, сам красный как рак от подобного излияния эмоций. – И всегда буду за тебя. Поэтому и вижу – то, что для одних – игра и ерунда, для тебя – настоящеему.

– Вот как, ты хочешь ее опорочить?

– Я ничего не хочу, – с досадой проговорил я, чувствуя, как меня завели в тупик. А потом просто рукой махнул и пошел отвязывать своего коня.

Мудрецы говорят, что более всего мы нетерпимы к отражению собственных недостатков в других людях. Столкнувшись с упрямством, присущим моему брату лишь в чуть меньшей мере, чем мне самому, я был вне себя от гнева. Всю дорогу назад мы молчали, даже не глядя в сторону друг друга. Под конец пути я заметил, что Йохан от меня где-то оторвался, но мне было все равно. Я решил было: если хочет погибнуть – пусть гибнет. Мое дело – устроить так, чтобы эта гибель не имела пагубных последствий для остальных членов нашего семейства. Потом я обозвал себя за такое решение подлецом и придумал такое: незаметно сделаю все, что в моей власти, дабы Йохан все-таки получил назначение в Неаполь вместо меня. Представлю его как следует королю, дам ему на всякий случай в сопровождающие Рибопьера – этот юноша действительно незаменим в подобных ситуациях – еще навалю на него с десятков поручений. Глядишь, и некогда будет ему вздыхать о великой княгине, чьи изумрудные очи позабудутся в вихре жизни.

Вернувшись обратно в Митаву и пребывая в совершенно расстроенных чувствах, я сцепился с одним господином, из остзейцев, но давно уже пребывающим в свите Людовика.

Причем причиной конфликта стало мое исключительно дурное настроение. Жертвой моего дурного темперамента стал граф Ойген фон Анреп-Эльмст, из довольно известной остзейской фамилии, родственник нескольких моих хороших знакомых. Он уже лет десять обретался за границей, окончив университет в Лейдене, будучи представлен при различных дворах. Выглядел он весьма авантажно, внешне чем-то походил на графа Меттерниха, но был лишен и доли его апломба. Такие люди меня крайне злят, ибо я невольно начинаю сравнивать себя с ними и подмечать свои многочисленные несовершенства.

– Нет, право, господа, я очень хорошо понимаю несчастного Шарлеруа, – говорил он тихим, но веским голосом. – Пребывая в эдакой глуши, как не застрелиться?

– Тому виной была несчастная любовь, – возразили Анрепу сразу несколько голосов. – Разрыв помолвки... Вероломство.

– Поверьте моему опыту, *monsieurs et medames*, – он торжествующе оглядел собравшихся, отчего-то остановив взгляд именно на мне. – Одно дело – страдать от несчастной любви в благодушном климате Неаполя, другое дело – здесь. Неудивительно, что дело окончилось именно так. Ни в чем он не мог найти утешения.

Естественно, глупцы, считающие себя остроумцами, подхватили разговор и начали охать и ахать: «Да, какой ужас!», «Здесь нет ничего хорошего», «А уж общество-то какое...», «И это еще даже не Россия, а Курляндия!». Перешли к перемыванию косточек местным жителям, не смущаясь ни моим с Йоханом присутствием, ни Анрепом, которого признавали за своего.

Даже любезнейший Рибопьер не выдержал и прервал речения словами:

– Позвольте, господа, но здесь же все устроено с комфортом! Вспомните Любек!

Его реплика вызвала еще больший поток жалоб, а Анреп, склонившись низко, проговорил, но так, что я услышал каждое его слово:

– Вы мало понимаете в жизни и в людях, молодой человек. Впрочем, если слаще редьки ничего не ели, то вам, верно, и такое убожество по вкусу.

Тут я взорвался. Как я уже упоминал ранее, меня более всего возмущала черствая неблагодарность со стороны оборванных и поистрепавшихся обломков *l'ancienne regime*'а, этого ожиревшего короля, с которым отказывалась иметь дело даже собственная супруга. Поведение же этой «парикмахерской куклы», как я нарек Анрепа, меня возмутило до крайности. Рибопьер сидел красный и только процедил:

– Я вас вызову за такие слова... Стреляться через платок!

– Вы ребенок, сударь, – невозмутимо проговорил граф. – Вам еще жить и жить, а вы планируете, в сущности, самоубийство. Как же огорчится ваша маменька!..

Тут я прервал поток слов, с размаху дал этому Анрепу пощечину. Тот охнул и уставился на меня еще пристальнее. Могу ошибаться, но я разглядел в его взгляде явное восхищение подобной решительностью. Сам же я был растерян. Я вовсе не желал так обходиться с графом и думал предоставить Саше самому разбираться с этим велеречивым дураком. Но некие древние инстинкты оказались сильнее меня. Да еще общее настроение, соединившись с действием вина, сняло всякие внутренние ограничения. Помню, как разговор за столом мигом затих, дамы заахали, закрыв лица веерами, а я растерянно глядел на свои ладони и видел, что они белы от пудры, покрывавшей лицо Анрепа. Потом я снова перевел взгляд на жертву своей вспыльчивости. Глаза его блестели, а рука не переставала баюкать пострадавшую щеку. Тот тихо проговорил:

– Барон, вы пьяны.

Я встал из-за стола, откланялся и ответил:

– Завтра в шесть утра. У розария. Оружие сами выбирайте, равно как и секундантов.

Только потом я понял, что натворил. В моем нынешнем положении я не имел права драться. Как на это посмотрит король? Что скажет мой император, если до него дойдут слухи?

Так ли уж все это важно? Какой-то болван что-то сказал... Но мне было очень обидно за Рибопьера. Хотелось восстановить справедливость.

В темноте полуосвещенного коридора меня схватили холодные женские руки, я почувствовал головокружительный сладковатый запах розовой воды, и голос Фредерики шепотом произнес: «Christophe, je vous adore...»

У меня не было воли противиться еще и ей. Я позволил ей увлечь себя в ближайшую комнату, где, не обращая внимания на поток вопросов, которые я пытался ей задать, и на мое слабое сопротивление ее натиску, голландка начала срывать с меня одежду и ласкать меня, причем очень умело, именно так, как мне всегда нравилось. Я быстро забыл и о грядущей дуэли с Анрепом, и о своем любопытстве, и быстро забылся в изнеможении страсти, подарившей мне иллюзию счастья. Только потом, когда мы оба собрались с силами, она поведала мне о себе, о том, как оказалась замужем за королевским медиком Никлаасом ван Леннертом и почему вспылала ко мне такой страстью, в которой ее нельзя было уличить пятью годами ранее. Признаться, после такой ночи мне не хотелось умирать самому или убивать ближнего своего, пусть даже и такого пустоголового щеголя, как сей Анреп, но что поделать?

Глава 3

Митава, июль 1798 года.

В окно уже слабо брезжил рассвет, и Кристоф понимал, что ему уже пора вставать, одеваться и идти к назначенному для поединка месту. То и дело, когда он выслушивал рассказ своей Шахерезады о ее невероятных приключениях по всей Европе, способных сравниться с его собственными, он вспоминал, что, ежели Анреп и посылал своих секундантов, то его не нашел, и, верно, уже громко рассуждает о его трусости. Вполне возможно, что вызов перехватил или Иоганн, или Рибопьер.

Та, которая и отвлекла его на всю ночь, невольно разрушив планы, лежала рядом, на скомканном шелковом покрывале, и нагота ее была прикрыта тонкой и короткой рубашкой. Она притомилась и задремала. Барон вновь взглянул на то тело, которое так исступленно ласкал до этого. Не красавица; впрочем, ему никогда не везло на красавиц. Худая, ростом почти с него. Впрочем, своим телом владела превосходно, не уступая в гибкости его петербургской любовнице, приме-балерине Настасье Бериловой. Лицо непримечательное, впрочем, волосы хороши, пушистые и отливают золотом. И ноги очень красивые и длинные, и он, глядя на ее тонкие щиколотки, плавные колени, вновь ощутил, как по телу разливается знакомая томная нега. Он осторожно отвел подол сорочки, и молодая женщина тут же распахнула глаза.

– Бог мой, – проговорила она. – Меня же потеряет муж.

– А меня потеряет мой соперник, – проговорил Кристоф, отводя ее руки и продолжая целовать ее тело.

Она рассмеялась и позволила ему продолжить начатое, закидывая ноги ему на плечи и впуская его в себя.

Когда, опомнившись, он начал спешно собираться, а затем вышел за дверь, Фемке проводила его долгим взглядом – сперва томным, и полным неги, а затем ошеломленным. Потом она сказала про себя: «Господи, самое-то главное я ему так и не сказала! Про Анрепа. Как же он теперь? Ведь его убьют? Боже мой!».

Кристоф спустился к себе в комнату, где его ждал бледный Саша Рибопьер, сообщив ему только одно:

– Мы не могли найти ни его, ни вас. Обыскались всюду.

Потом, глядя на несколько растрепанный вид своего командира, он мимолетно улыбнулся.

– Идемте за мной, – Кристоф растолкал своего слугу, приказал подавать переодеваться, затем наскоро проверил пару пистолетов.

– Сразу будете стрелять? – с сомнением проговорил Рибопьер.

– Да. Я ставлю такие условия. Два выстрела, десять шагов. Если я промахнусь или же меня ранят так, что я не смогу продолжать, дуэль ведете вы. Это не совсем по правилам, но оскорбление было слишком серьезным.

Глаза юноши загорелись темным огнем на бледном лице. Развязка должна быть интересной, и он непременно желал в нем поучаствовать. Одно его грызло, равно как и его начальника, деловито переодевающего рубашку: а каковы будут последствия этого смертоубийства? Неужели Сибирь? Он бы никогда не назвал графа Ливена рискованым человеком, поэтому его слова только удивили юного адъютанта до невероятия. Он уже восхищался этим генералом, который всего на семь лет был старше его самого.

Противник ждал Кристофа у розария, один, без секундантов и без оружия, что несколько насторожило барона. В облике графа не было и толики той спокойной самоуверенности, кото-

рая так возмутила Кристофа прошлым вечером, заставив его пойти на неистовую дерзость. «Хорошо, что не струсил», – подумал он. – «Хоть пришел».

– Нам не нужно стреляться, – заговорил сходу граф Анреп-Эльмст, глядя Кристофу прямо в глаза и, казалось, не обращая ни малейшего внимания на Рибопьера. – Приношу свои извинения, ежели так угодно.

– Это не передо мной вам следует извиняться, а перед нашими с вами соотечественниками, которых походя обидели, – проговорил Кристоф.

– Вы мститель от лица всего остзейского дворянства? – в голосе Эльмста появилась слабая тень прежнего апломба. – Но зачем вам это?

Адъютант Кристофа выкрикнул:

– Ежели вы трусите, милостивый государь, то так и скажите!

Кристоф посмотрел на него, сделав рукой жест, призывающий к тишине. Анреп, видать, решил продолжить свою мысль.

– Вас попросили драться? – продолжал он. – Или вам заплатили за то, что вы меня убили?

Барон был настолько изумлен этими словами, что даже не сразу нашел ответ.

– Как вы смеете так говорить! – вскричал его адъютант. – Да за такие слова нужно драться немедленно!

Кристоф посмотрел на него раздраженно и перебил своего адъютанта, обращаясь к сопернику:

– С равным успехом я могу спросить о том же и вас, граф.

Анреп-Эльмст отчего-то странно усмехнулся и проговорил:

– А у вас есть большой резон.

Затем он чуть одернул левый рукав своего сюртука, обнажая белоснежный манжет рубашки. В утреннем свете мелькнула золотая запонка в виде алого восьмиугольного креста, который более всего напоминал очертания цветов, в изобилии растущих вокруг и покрытых блестящей утренней росой.

Ливен вспомнил все. *Дело не кончилось, и они доведут его до Посвящения.* Ежели этот человек может ответить на его вопросы, то он, пожалуй, погодит с дуэлью. И кто знает, какие кары от Братства Розы и Креста, от этих «рыцарей», последуют, если Кристоф убьет противника? Спасибо, что предупредили.

– Объяснитесь, – проговорил он тихо, хотел добавить еще что-то, но оглянулся на своего адъютанта, который выступал «третьим лишним». Под каким бы предлогом услать от себя Рибопьера?

– Он пусть остается, – отвечал Анреп. – Ведь это его тоже касается.

Барон обратил внимание, что выражение лица его помощника стало ровно таким же, какое, верно, было и у него: бледным, сосредоточенным и немного испуганным, но вовсе не озадаченным. Очевидно, он каким-то образом понимал, что значит рубиновая запонка на запястье графа Эльмста. И что означает место назначенной встречи, где Кристоф вроде бы как «случайно» нашел его. Возможно, Братство нашло себе еще одного юного члена.

– Фемке, – произнес далее граф. – Фредерика ван Леннерт. Как я понимаю, она вам хорошо знакома?

Кристоф кивнул.

– Она знакома и мне. Смотрите, – он вытянул левую руку, и Кристоф разглядел тускло-золотое обручальное кольцо на безымянном пальце.

– И что это означает? – барон сам не понимал, куда пошел разговор и причем тут его подруга. А потом вспомнил ее отца. Тот же был сам из Рыцарей... Конечно, все как-то связано.

– Я муж ее сестры Аннелизы, – произнес тот спокойно. И с печальным вздохом прибавил: – Был мужем. Этот ангел покинул меня три года назад, в Вюртемберге, лишив меня последней надежды на счастье.

– Соболезную, – суховаго произнес Кристоф, хотя воспоминания о младшей из сестер ван дер Сханс заставили его сожалеть о ее безвременной кончине. И странно, что Фемке ничего о смерти сестры не упомянула. Впрочем, он об Аннелизе даже не спрашивал, равно как и о самом докторе ван дер Схансе, хотя знал, что последний, увы, скончался. Но женщина шепчет слова любви, уверяет его в том, что влюбилась в него еще тогда, когда он пребывал в Амстердаме у его отца, и замужество дало ей много свободы, и многое другое, столь же льстивое, приятное и соблазнительное, думается совсем иное

Отбросив все эти мысли, он продолжал:

– Это, бесспорно, печальное событие, но причем тут подробности вашей частной жизни?

– Фредерика еще не говорила вам, что случилось с ее отцом?, – тихо проговорил Ойген. – Отчего именно он умер?

– Это имеет какое-либо значение? – Кристоф перевел взгляд на своего юного приятеля и заметил, что тот побледнел почти смертельно. Казалось, еще чуть-чуть – и бедняга рухнет в обморок.

– Для нас – имеет. Его убили выстрелом в затылок.

Кристоф пожал плечами. Мало ли несчастных случаев происходило в революционные времена? Очевидно, несчастного доктора приняли за человека, у которого могли бы водиться какие-то деньги, хотели ограбить, вот и прикончили.

– Не взяли ничего, – продолжал граф Антреп. – Но самое интересное, доктор, похоже, знал своих убийц. И знал, что они с ним сделают. Поэтому сжег все свои бумаги в камине накануне гибели. А после похорон Фемке рассказывала, что кто-то влез через окно в кабинет ее отца и пытался там что-то найти. Ей было очень страшно, посыпались другие угрозы, поэтому и пришлось продать дом, и поспешно выходить замуж за этого Леннерта, к которому она не питала ни капли чувств, и уехать в Штутгард, взяв с собой сестру. Там я ее и встретил. И сделал предложение.

– Как занимательно, – проговорил барон довольно раздраженным тоном. – Но кто хотел гибели ван дер Сханса?

– В этом-то весь смысл, – его собеседник направил взгляд в сторону. – *Дело*, в котором он участвовал, не только приносит блага, но и позволяет безнаказанно устранять неугодных. И у меня есть все основания считать, что следующим будет кто-то из нас троих.

– Что же вы предлагаете? – Кристоф ничуть не испугался слов своего несостоявшегося противника. – Не знаю, как вы, но я по доброй воле это *дело* не выбирал. Более того, я даже не проходил полноценного посвящения и не связан никакими клятвами.

Он оглянулся на своего адъютанта и добавил, обращаясь к нему:

– Надо полагать, вы тоже?

Вместо ответа Александр проговорил отсутствующим тоном:

– Теперь мне очень многое стало понятно.

Далее он свою мысль не развивал.

Анреп продолжил:

– Я об этом и говорю. Скоро вам предложат стать одним из Рыцарей. Если вам дорога жизнь, откажитесь.

– Кто же вам зарекомендовал меня таким трусом? – усмехнулся Кристоф. – Я бывал в сражениях и особо не дорожу своим бранным существованием. Как будто опасность быть убитым должна меня пугать. Если она пугает вас, то прошу прощения.

И он развел руками.

– Это вы говорите сейчас, – произнес Анреп-Эльмст. – Пока вы один, умереть просто. Но потом, когда в вашей жизни появятся те, кто от вас зависит... Ради которых стоит жить.

– Не думаю, что стоит жить ради кого бы то ни было, – жестко ответил Кристоф, и в глазах его невольно отразилась боль, не сочетающаяся с циничностью его слов. Он уже чуть ли

не пожертвовал жизнью, рисковал ради карих глаз девушки, чей образ навсегда был запечатлен в его сердце.

Анреп подошел к нему вплотную и проговорил заговорщицким тоном:

– А если я вам скажу, что за гибелью от *их* рук всегда следует бесчестье?

– Как же был обеспечен ваш покойный тесть? – Кристоф отошел от него на пару шагов и уже жалел, что дуэль не состоялась. Впрочем, ее можно было бы возобновить и провести по всем правилам.

– Я все понял. Уговорить вас невозможно, – отчаянно отвечал его соперник. – Вы сами не хотите, а еще утаскиваете с собой на тот свет юного вашего друга.

– Никто меня не утаскивает, – отвечал Рибопьер. Голос его был тверд, хоть и тих. – Я сам решил.

– Тогда ждите. За вами обоими придут, и скоро, – граф снова многозначительно поднял руку, так, чтобы манжета с искомой запонкой-розой обнажилась. Кристоф фон Ливен приметил и кое-что другое – безыскусно сплетенный браслет из рыжевато-золотистых волос. Они не принадлежали его покойной жене Аннелизе – та была пепельной блондинкой, как и сестра. И при взгляде на эту мелкую, незначительную деталь, он отчего-то подумал – его обманывают. Водят за нос. Пытаются отвлечь от уже намеченной цели и предназначения. И вообще, похоже, граф не имеет никакого отношения к Рыцарству. Даже если Анреп в чем-то прав, и он, Кристоф, разделит участь доктора ван дер Сханса, то само поведение графа, это судорожное цепляние за рукава и отговаривание от неизбежного, от посвящения в Рыцари, которое уже должно было случиться, говорило категорически против него. И адъютант Кристофа полностью разделял его взгляды.

– Я все понял. Прощайте, – холодно проговорил Кристоф. – Надеюсь вас более не видеть.

– Это благодарность за мое милостивое прощение оскорбления, которое вы нанесли моей чести?

– Мне ваше прощение было ни к чему. Хотя я и не хочу с вами встречаться, но, ежели вы передумаете и решитесь все-таки со мной стреляться, я к вашим услугам.

Анреп горестно вздохнул и пошел прочь. На полпути он обернулся и проговорил:

– Вы удивлены, граф, почему я, будучи вашим соотечественником, обретаюсь здесь, при дворе короля Луи? Что заставило меня уйти?

Кристоф ничего не отвечал. Ему было все равно, что он ответит, но тот продолжил:

– То, чего страстно желает ваш брат, но на что он никогда не осмелится.

Барон не ожидал подобного ответа и не знал, как ему стоит реагировать.

Кристоф с Рибопьером остались вдвоем и растерянно посмотрели друг в друга глаза.

– Мой покойный батюшка всегда говорил мне, что в нашем роду были рыцари. Но я никогда не воспринимал это дословно, – заговорил Александр, но его старший товарищ посмотрел на него так, что у юноши отпало всякое желание продолжать рассказ. Он только спросил:

– Я готов принять последствия. Но каков смысл?..

Кристоф не стал отвечать. Он лишь проговорил:

– Они исполняют свои обещания, в чем я успел убедиться. И, похоже, то, что нам сейчас наговорил граф, – тоже правда. Так что можете выйти, если не желаете связывать с ними судьбу.

– А как же вы?

– Я пойду дальше, – Кристоф говорил тихо и спокойно. От этого спокойствия мурашки пробежали по спине юного Рибопьера. Он собрался с духом и ответил:

– Значит, и я пойду за вами.

– Простите, но я не требую безусловной преданности, – барон оглядел адъютанта с головы до ног. – Такая привязанность ко мне вас только закабалит.

– Мне иначе нельзя, – опять вымолвил загадочную фразу Рибопьер.

– Отчего ж? – спросил Кристоф. – Вы свободны.

– Меня к вам назначили.

– И что ж? – барон по-прежнему пытался притвориться непонимающим, хотя уже начал кое о чем догадываться.

– Я не могу просто так уйти, – граф Александр посмотрел на него странным взглядом, словно пытаясь спросить – как же его начальник не понимает таких элементарных вещей?

– Отчего ж? Я могу дать вам назначение вдали от своей персоны, вас могут перевести на службу к кому-нибудь другому из генералов, наконец, вас повысят так же, как меня, и вы уже сами будете брать себе адъютантов, – Кристоф по-прежнему притворялся непонимающим, что совсем смущало Рибопьера.

– Тут дело не в службе, – заговорил он. – Даже если меня повысят, даже если я переведусь в другое ведомство или же вовсе уволюсь со службы, уеду хоть на край света, то все равно должен буду поддерживать с вами тесную связь. Так мне сказали.

– Кто же вам это сказал?

– *Девятый*, – и Рибопьер побледнел, зная, что выдал большую тайну. Далее, оглянувшись и никого не заметив, кроме нескольких слуг, постригающих клумбы в парке, осмелился добавить:

– Ежели желаете, так у меня и письмо есть. Могу показать.

– Покажите.

– Оно у меня не с собой, в комнате, – отвечал его адъютант.

... Через некоторое время он показал глянцево-желтоватый лист веленовой бумаги, заверенный печатью с изображением розы, столь знакомой барону. Он даже не стал читать послание, потому что узнал почерк, которым оно было написано. Он мог принадлежать только одному человеку – Армфельду. Кристоф мог утверждать это с уверенностью, хотя послание к Рибопьеру не было никак подписано. Он, не долго думая, порвал бумагу прямо перед изумленными глазами адъютанта.

– З ачем вы это сделали? – выдохнул тот не столько возмущенно, сколько ошеломленно.

– Так должно поступать со всеми подобными письмами, – спокойно объяснил ему Ливен. – Разве вам еще не говорили?

Его адъютант лишь головой покачал.

– Вы ни разу не видели автора послания в лицо? – продолжал опрос барон.

– Я знаю лишь, что он вел активную переписку с моим отцом. Кажется, он датчанин...

– Швед, – лаконично отвечал Ливен. – Хотя это неважно.

– Он вам знаком? – спросил Александр.

Заметив, как по тонкому, бледному лицу адъютанта промелькнула тень любопытства, барон поспешил добавить:

– Да, знаком. Но более я вам не скажу.

Сознавая, что его слова еще пуще разожгли в юноше любопытство, Кристоф продолжил:

– В сущности, я сам ни в чем не уверен. Возможно, за этим человеком стоит кто-то еще...

– Этот Анреп нам врал, как вы думаете?

– И в этом я тоже не уверен, – барон ненавидел, когда приходилось выказывать сомнения. Мысль промелькнула в его голове: «Пустое это, дым один, туман, и ничего более. С нами играют, как с несмышленными детьми, верящими в чудеса. И тем, кто затеял эту игру, следует доказать, что мы не дадим себя ввести в заблуждение».

– Все-таки жаль, что дуэль не состоялась, – продолжил Рибопьер, решив перевести разговор на другую тему.

– Ничего страшного. Каждый из нас сохраняет право на выстрел, – пожал плечами Кристоф, думая о другом. В частности, о том, что неплохо бы расспросить Фемке о всем, что случилось с ней, сестрой и ее отцом, и сверить ее рассказ с повествованием Анреп-Эльмста. Но,

ежели возникнут большие расхождения, то кому верить? И следовало ли вообще вдаваться во все эти интриги? Как будто ему больше нечем было заняться...

Распрошавшись со своим адъютантом, он натолкнулся на Фредерику. Она явно пребывала в сильном волнении, на щеках ее рдел яркий румянец, платок небрежно и криво накинута на плечи, а волосы выбивались из-под чепца.

– Ты жив? Слава Богу! Ты не знаешь, что за человек этот Анреп! – молодая женщина, совершенно не задумываясь о том, что ее может кто-то увидеть, подхватила Кристофа за руку.

– Догадываюсь, – произнес он мрачно.

– У него одна цель – со всеми покончить, – Фемке понизила голос. – И он не зря здесь...

– Правда? А он, наоборот, посулил спасти меня от верной гибели. И я думал, что он заодно с твоим покойным отцом.

– Ах, если бы... – вздохнула его любовница. – Он навлек на него убийц. Если сам не приложил руку к гибели моего отца.

– Но как же так?

Тут раздалась шага – кто-то поднимался по лестнице.

– Об этом я поговорю с тобой потом. Сегодня в западном крыле, – произнесла она быстро, услышав посторонние звуки. – В восемь часов вечера, после ужина.

Судя по деловому тону, удовольствий она не обещала, и Кристоф разочарованно вздохнул, потому что ее явление возбудило в нем яркие воспоминания о прошедшей бессонной ночи, и он бы не отказался провести еще такую же.

Он встретился со своей голландской знакомой в то же время и в том же месте, и ему были сообщены при этом такие сведения, что все легкомысленные желания в нем утихли, сменившись лишь явным предчувствием, что с Анрепом-Эльмстом им суждено будет встретиться – и поквитаться.

Глава 4

CR (1818)

Все мои неприятели чем-то схожи между собой. Это люди, источающие блеск и апломб, считающие себя хозяевами жизни, которые никому никогда ничего не должны. Они стремятся набиться мне в друзья, хватают за запястья и, как и многие, начинают поверять мне тайны о том, что грозит мне, якобы, из одного только дружеского расположения. Эти люди первоначально вызывают во мне плохо скрываемую зависть. Не то, чтобы у меня было много причин кому-либо вообще завидовать: я полагаю, что и так одарен судьбой сверх меры во всех отношениях. Но мне присущи сомнения; тем же, кого я ненавижу, никаких терзаний по поводу своих поступков и места в мире не приуготовлено в силу их причудливой природы.

Таков был и есть Меттерних; таков был его гораздо менее известный «двойник» Анреп-Эльмст. Память о нем стерлась, и его имя осталось только в родословных росписях его семейства, и то замазанное черным, словно даже ближние желали о нем позабыть.

Итак, когда я так и не стал с ним стреляться, и тот начал уговаривать меня от вступления в когорту Рыцарей, оказалось, что он связан узами родства с небезразличной мне в ту пору Фредерике ван дер Сханс. К слову, после нашего весьма страстного свидания она призналась, что питала ко мне горячую любовь все те годы, которые прошли между моим пребыванием в доме ее отца и нашей встречей в Митавском дворце. Ни замужество, ни свалившиеся на нее одно за другим несчастья не разрушили ее желание быть рядом со мной. Поступки Фредерики говорили куда красноречивее слов; к моему великому облегчению, она не желала бросать мужа ради меня и, казалось, понимала, что, помимо физического влечения, я ничего к ней не испытываю. Ее это не задевало; все же, она была умной женщиной, знающей, чего хочет, и весьма трезво оценивала обстоятельства.

Все клянут муки несчастной любви, и, признаться, я и сам бывал жертвой жестокосердия возлюбленной. Однако еще хуже быть любимым той, которую не любишь. Притвориться, что испытываешь ответные чувства, дабы воспользоваться ею, – выбор подлеца. Отвергнуть немедленно – признак бесчувственности. К счастью, в тот раз с меня никто не требовал никаких ответных клятв, не пытался поймать в моих глазах отблеск столь же пламенной любви. Фредерика как была трезвомыслящей, умной и самостоятельной, так ею и осталась. Она же предупредила меня о том, кто такой Анреп, и пролила свет на все, что было им сказано. Далее перескажу ее рассказ.

После моего отъезда дела в Нидерландском королевстве свернули предсказуемо не туда. Приходилось ежедневно опасаться за свою жизнь. И как раз в ту пору доктор ван дер Сханс принял у себя некоего студента Лейденского университета. Им и оказался вышеозначенный граф Ойген. Правда, о том, что он граф и носит двойную остзейскую фамилию, никто не знал. Тот назвался выходцем из Бремена Иоганнесом Эвертом. Он же, как я понимаю, дал понять доктору, что принадлежит к Рыцарству – верно так же, как и дал понять мне. Фредерике он сразу не понравился. К слову, незадолго до явления лже-Эверта состоялась ее помолвка с Леннертом, только-только получившим степень доктора медицины. Тот был ассистентом его отца, она знала его с детства и всегда понимала, что будет его женой. Это обстоятельство не помешало ей влюбиться в меня, что неудивительно – в борьбе за девичьи сердца военные всегда одерживают верх перед штатскими. Правила приличия, однако, мешали ей отвергнуть руку и сердце Никлааса ван Леннерта, и она их покорно приняла, ни словом, ни взглядом не выдав никаких подозрений.

Эверт, по словам Фредерики, был подозрителен не только ей, но и ее жениху, который сразу же, после первого же совместного ужина в семейном кругу, сказал, что тот – не студент,

не штатский и относится к куда более знатному сословию, нежели утверждает. Это откровение, высказанное Фемке ее отцу, не изумило последнего. Тот привык общаться с теми, кто не тот, за кого себя выдает, и подобный маскарад ничего ему не говорил.

Когда доктор почувствовал, что ему грозит опасность, было уже поздно. Что заставило его резко сменить свое расположение к Эверту, не знала сама Фемке. Она только слышала, что накануне гибели ван дер Сханса тот долго и страстно говорил о чем-то в кабинете с их гостем. Тот выехал со двора поздно вечером. Рано поутру, 19 февраля 1796 года, доктор отправился куда-то, приказав старшей дочери паковать вещи. На вопрос, что случилось, отец ответил, что им вскоре придется бежать из страны. Сразу же после ухода отца девушка послала служанку на поиски жениха, но Леннерт второй день проводил у постели тяжелого больного в другой части города, поэтому встретиться с ним не удалось. Доктор ван дер Сханс не явился ни в обед, ни к вечеру. Стрелки часов в гостиной приближались к полуночи, и его дочери сходили с ума от беспокойства, когда явился Эверт и сообщил к прискорбию, что доктор убит.

Первой реакцией Фредерики, по ее словам, было выплеснуть в лицо ему все подозрения и домыслы, но она сдержалась и спокойно заявила, что полагает, будто он носит не свое собственное имя.

Далее Анреп, наконец, сообщил, кто он таков. Смешав сентиментальность с апломбом, он попросил руки Аннелизы, к которой, оказывается, всегда питал наиглубочайшую симпатию.

Фредерика растерялась, но ей хватило сил собраться и спросить, почему же тот пользовался чужим именем и почему не попросил руки ее сестры раньше, пока был жив ее отец. Тот пробормотал что-то о «тайном обществе» и о том, «как опасно нынче в Европе быть аристократом». Фемке резонно возразила, что пока о помолвке не может идти и речи, но граф применил весь свой дар убеждения, дабы она дала обещание, что после похорон доктора свадьба состоится.

Через два месяца состоялось двойное венчание – Фредерики с доктором Леннертом и Аннелизы с графом Анрепом. Так что в чем-то одном он не соврал.

...Я помню длинный летний вечер, который мы провели вдвоем с Фемке. Я ее только слушал, а она продолжала говорить, местами замолкая, дабы справиться с эмоциями.

– Я никогда не прощу себе, что дала согласие, – добавила она после упоминания о свадьбе сестры. – Я не имела никакого права.

– А что же Аннелиза? – спросил я. – Она любила его?

– Я не знаю, – пожала плечами моя собеседница. – Как ты помнишь, моя сестра всегда отличалась молчаливым нравом. И сам понимаешь, что она не могла плениться одной его наружностью...

Она усмехнулась горько и добавила тихим голосом:

– Ее зрение с годами стало еще хуже. Она уже больше не могла сама передвигаться по дому, и пришлось нанять компаньонку, чтобы та ей помогала.

При этих словах Фредерика посмотрела в сторону и сказала:

– В сущности, это я виновата, что Аннелиза ослепла. Это случилось, конечно, нечаянно, но все равно, вина моя.

Далее она рассказала, что в восемь лет заболела скарлатиной сама и заразила младшую сестренку. Болезнь нередко оканчивается смертью или различными осложнениями, в том числе, слепотой. И моя подруга не могла простить себя за то, что сама отделалась более-менее легко, а сестра ее получила осложнение на глаза, приведшее почти к полной утрате зрения.

Сделаю небольшое отступление и отмечу, что людям свойственно винить себя иррационально за беды и несчастья ближнего. Нам кажется вопиющей несправедливостью, почему с ними такое произошло, и мы в поисках логичного объяснения обвиняем себя во всех грехах, а пуще всего – в непредусмотрительности.

Вот и Фредерика поддалась этому общему греху. В ответ на мои утешения тогда она расплакалась, что показалось мне столь странным и ужасным, что и у меня в глазах появились слезы. Моя голландская приятельница не из тех женщин, кто злоупотребляет слезами, ее проще представить в гневе, чем в тоске. Я обнял ее, мы посидели молча с полчаса, а потом она произнесла:

– Ах, ну почему же тогда тебя не было с нами! Почему тебе пришлось уехать! Знала бы, сделала бы так, чтобы ты так скоро не поправился, продлила бы, право, твою болезнь.

– Теперь мне стоит тебя побаиваться, – пошутил я, а сам подумал: как сложилась бы моя жизнь, если бы Фредерика заняла в моем сердце место госпожи де Сент-Клер. Ведь встреча с Брендой была чистой случайностью, прихотью судьбы. Возможно, все было бы легче. Или сложилось бы столь же трагично. Невозможно угадать.

– Слишком поздно. Теперь уже слишком поздно, – горько проговорила Фредерика и продолжила свой рассказ:

– Мы продали дом и имение в соседней провинции. Граф настоял на том, чтобы разделить это имущество. Он постоянно допытывался у меня, остались ли от отца какие-либо бумаги, а, если остались, то не могла бы я их передать ему. К счастью, отец догадался уничтожить то, что было действительно важно. Я притворилась, что не знаю, какие бумаги надобны Анрепу, и передала ему всякие ненужные документы и медицинские выписки. Не знаю, как он отнесся к моему поступку. Он никогда не осмеливался меня шантажировать в открытую. Особенно когда я сама вышла замуж, и он породнился со мной.

– Почему они уехали в Вюртемберг? – спросил я.

– Мне казалось это самым естественным. Граф сказал мне, что родом оттуда.

– Так он русский. Точнее, русский подданный. Имена его родителей находятся в здешних краях.

– Еще один обман с его стороны, – криво усмехнулась Фемке. – Мне стоило бы выяснить, почему он отказывается ехать в Россию.

– Он в немилости у государя. В отличие от меня, – после этих слов я почему-то преисполнился к Анрепу жгучей завистью. На что он намекал, произнеся фразу про то, что совершил нечто, на что никогда не осмелится Иоганн? Вариантов было немного – либо интимная связь с представительницей правящей фамилии, либо открытый конфликт с кем-либо из власть предержащих. И впрямь, ни я, ни мой братик не пошли бы на это ни в жизнь. Ведь это смерть и бесчестье. Но в том-то и была суть – граф Ойген преступил некую границу, которая была установлена над нами. А значит, в чем-то требовал свободы.

– Как бы то ни было, Аннелиза мертва, и мне только стоит винить себя в безвременной смерти. Вот судьба... – она посмотрела мне прямо в глаза. – Я должна была охранять сестренку от всех несчастий, но вот что получилось.

– Отчего же она умерла? Неужели ее убил муж?

– Косвенно – да, – госпожа Леннерт не отводила от меня взгляда ясных голубых глаз, все знающих и все видящих. – Как мне сообщил Анреп, ее смерть наступила от последствий неудачной беременности.

– И это, конечно, известно тебе по словам Анрепа, – подхватил я.

Она только кивнула.

– Я слышала, что после похорон сестры он познакомился с некоей знатной дамой и, вопреки всем условностям светского траура, уговорил отдать за себя ее юную дочь.

– Не удивлен.

Я хотел рассказать, что же надобно было Анрепу по мою душу, но не знал, как это сделать, не нарушив всей секретности. Фемке многое знала о деятельности своего отца, но далеко не все, судя по всему. Поэтому я только произнес, что, ежели подобный поступок имел место быть, то Анреп становится все более подозрительным. Потом я добавил:

– К сожалению, здесь я связан по рукам и ногам. Поэтому ничего не могу с ним сделать.

– И я тоже, – вторила мне Фредерика. – Но ничего. Рано или поздно вся правда выйдет наружу, и этому негодяю ничего не останется сделать, как бежать. Или принимать свою смерть с достоинством.

Я тогда мог только подтвердить, что выстрел остался за мной.

Я сделаю его через два года, рискуя многим, если не всем.

Та юная девица, к которой посватался Анреп-Эльмст после скоропостижной смерти своей первой супруги, стала моей женой. И счеты с этим графом я свел после собственной свадьбы на его нареченной.

...С Фредерикой мы распрощались очень жарко. А потом я был взят в оборот к Двенадцати, шпаги их скрестились на моей груди, и моя жизнь перестала быть прежней. Навсегда. Хотя я и не сразу это осознал.

Митава, август 1798 года.

Посвящение вспоминалось Кристофу сном, сладостность которого соседствовала с кошмаром. И он повторялся, обрастая все новыми невероятными деталями, становясь все длиннее, наверное, длиннее, чем все происходило на самом деле.

Потом, по трезвому размышлению, он понимал, что его, скорее всего, опоили чем-то, не позволившим ему узнавать и запоминать лица, последовательность событий, голоса и слова, которые были сказаны этими голосами. Одно он только осознал – крестообразный разрез на груди, прямо по шраму, оставшемуся от былой раны, из-за чего все болело и кровоточило так, как в первый раз – реален. И боль эта реальна, равно как и легкая лихорадка, вызванная тем, что рану потревожили столь бесцеремонно.

Затем, когда запомнившиеся фрагменты начали повторяться наяву, он все понял. Когда он начал встречать людей, скрывшихся за мантиями – белыми, с красными крестами – и рыцарскими шлемами, и стал догадываться, чьи же именно глаза виднелись из-под забрал, кто же именно держал шпагу, обагрившую его кровью. Нет, это не сон и не выдумка: все было в реальности и, значит, неотвратимо. Как неотвратимы рождение и смерть.

...Тогда он уже собрался выезжать в Петербург из Митавы, изрядно ему поднадоевшей. А еще этот случай с Анрепом, на которого охотился его адъютант, и попытка вмешаться в интригу. До отъезда оставалось лишь несколько часов, и он с чувством облегчения лег спать, отчего-то чувствуя, что в этот-то раз сможет выспаться, и никакие кошмары его не потревожат.

Но все равно ночного пробуждения миновать барон не смог. Открыл глаза немедленно, словно кто-то толкнул его в бок. Из щели между запахнутыми портьерами струился бледный свет. От темной глади зеркала на темный паркет ложилось светлое пятно. Кристоф даже в детстве не боялся темноты, но сейчас, когда пригляделся и предметы в комнате приняли свои очертания, он понял, что в этом свете из окна и в глади зеркала есть нечто, заставляющее его сердце биться быстрее и замирать где-то под ребрами. Он закрыл глаза, стараясь забыться, вновь окунуться в сладкий плен сна. Сперва это подействовало, Кристоф даже задремал. Но полностью уснуть не получилось: привиделась темная башня, и бледный свет в узком окне под крышей, и там, в этом окне, должно скрываться нечто невообразимо ужасное, такое, чего быть не должно ни в коем случае. Он не видел этого ужаса, но знал, что ужас этот находится за темными стенами зубчатой башни, и само осознание этого его вновь разбудило. Кристоф, еще не открывая глаз, тяжело вздохнул и потянулся невольно к краю столика, на котором стоял пузырек опиума, выданный его любовницей Фемке в ответ на жалобы на бессонницу. Он уже пару раз пользовался этим средством и оценил негу и расслабленность, нисходившие на него через несколько минут после приема, а также крепкий, без всяких видений, сон. Единственное, Фредерика взяла с него клятвенное обещание, что к опиуму он будет прибегать, лишь когда станет совсем плохо, потому как, по ее словам, «это много хуже вина». Вдруг чье-то холодное дыхание

повеяло на него, барон мигом раскрыл глаза и увидел длинное белое светящееся пятно перед собой, в очертании которого он узнал покойного шевалье, недавно покончившего со своей жизнью. Явление призрака отчего-то не испугало его, наоборот, вызвало облегчение – теперь-то страх можно назвать и что-то с ним сделать. «Уходите», – подумал барон. – «Я не причем. Не я похищал вашу возлюбленную. Не я заставил вас покончить с собой».

«Но вы знаете, кто это сделал», – мысль, родившаяся в голове Кристофа в ответ на те слова, которые он даже не произнес, явно исходила откуда-то извне.

«Ан...?»

«Ни слова», – видение приставило прозрачный палец к синеватым губам. – «Вас очень ждут».

«Где?»

«Там, в башне».

Затем призрак развеялся в воздухе.

Следующее, что запомнил Кристоф из этой ночи – он, уже одетый и вооруженный, идет по парку. Ночь очень теплая, светлый месяц парит на сиреновом небе, ярко и удушливо пахнет цветами. Отчего-то предстала перед ним Фредерика ван Леннерт в костюме Флоры, и в руках она держала влажные от росы розы, и розы были из его давешнего бреда, красно-белые, он узнал их быстрее, чем ее саму. Она держала цветы прямо за стебли, покрытые длинными шипами, и эти шипы кололи ей руки, тонкие струйки крови, вытекающие из ее пальцев, пачкали просторные рукава ее белого муслинового платья. Она слабо улыбнулась ему и пошла вперед, а Кристоф последовал за ней. Девушка не оглядывалась, и с каждым шагом роняла по одному цветку. Когда букет кончился, Фемке обернулась к нему.

– Что все это значит? – спросил он.

– Ты избран, – добавила девушка и провела по его лицу окровавленными ладонями. А затем поцеловала его – кажется, он не был в этом уверен, потому что далее почувствовал, как теряет сознание.

Очнулся он в той самой комнате, куда когда-то заходил шесть лет назад, в имении своего кузена. Он знал, где находится, и не мог понять, как был перенесен сюда. Ведь оттуда до Митавы – верст восемьдесят, не меньше. Все те же портреты на стенах, все тот же круглый стол. За ним восседают одиннадцать фигур, облаченных в белое. Два канделябра на стене еле рассеивают мрак. А в середине стола – символ, слишком уж знакомый Кристофу. Он не помнил по прошлому разу, что он там присутствовал, но не удивился. Вообще, он отчего-то перестал удивляться.

– Ты жаждал свободы и ты ее получишь, – говорил тот, что находился напротив него. – Ни царь, ни Бог, никто тобой не будет повелевать, ведь ты сам – и царь, и бог.

– А почему же я? – прошептал он.

– Потому что ты рыцарь, – произнес ближайший к нему человек. В его голосе слышалось сочувствие, и Кристоф отчего-то проникся к нему симпатией.

– Так вы все рыцари, – барон оглядел их, пытаясь опознать и думая, что это ему удастся. – Достоин ли я быть среди вас?

– Вы задаете толковые вопросы, – послышался голос с другой половины стола, оставшейся в тени. – Можете быть уверены – достойны.

– Но я же ничего не знаю, – Кристоф говорил так, словно кто-то подсказывал ему ответы.

– Но уже многое умеете, – произнес его сосед.

Кристоф тут вспомнил об Армфельде. Ежели он здесь, так сможет все ему объяснить. Он спросил, и на этот раз вопрос принадлежал ему, а не был вложен в его уста кем-то другим, извне:

– Кто же из вас Девятый?

– Это вы.

Напротив себя он увидел портрет своего деда. И почувствовал, как все меркнет перед глазами.

Все, что он запомнил далее – блаженную тьму, из которой его вырвал яркий свет, отражавшийся от одиннадцати мечей Рыцарей-Братьев.

«Ступай, Брат наш, из тьмы к свету». И он присел в гробу, куда его положили. По груди его текла кровь и было немного больно. И эта боль позволила ему осознать себя, понять, что все произошедшее случилось наяву. Он оглядел одиннадцать фигур в белых плащах и впервые осознал то, что они из плоти и крови, как и он сам. Понял он, что они на самом деле не похожи друг на друга. Двое из них приблизились к нему, оба высокие, крупные мужчины. В одном из них Кристоф узнал соседа по круглому столу. Другой же протянул широкую ладонь, в которой рука барона почти исчезла, помог ему встать и проговорил:

– Кристоф-Рейнгольд, поздравляю. Вы теперь один из Знающих и Способных. Выговор его был типично остзейским, что приободрило Кристофа. Значит, он в окружении живых, а не призраков, и ему это не снится и не грезится в бреду.

– Все проходили через это, и все чувствовали то же самое, – сказал другой, столь же высокий, как и тот, который его поздравил, но более худощавый. Кристоф запомнил его зеленые глаза, яркие, почти без примеси другого цвета. Кого-то он ему напоминал, но он позабыл имя. Да и вообще, при ближайшем рассмотрении каждый из братьев казался смутно знакомым Кристофу.

Его, наконец, облачили в то же самое. И дали прочесть длинную клятву на латыни, половину слов из которых он не понимал. После «Amen» он уже ничего не помнил, а очнувшись, обнаружил себя уже в карете, на пути в Петербург. Позже, пытаясь сопоставить всю последовательность событий и обнаруживая длинные пробелы в памяти, Кристоф долго спрашивал себя, как же все оно вышло. Слуга его клялся и божился, что ничего не видал, что барон изволил почивать до утра и никуда из комнаты ночью не выходил. Других свидетелей произошедшего было полно, но ни к кому из них барон не мог прибегать за помощью, потому что знал – никто из них ничего не подтвердит и не опровергнет. Одно он мог сказать с точностью – Рыцарем в ту ночь он стал. Девятым рыцарем, как уточнили те, кто разомкнул свой тесно сплоченный круг, чтобы принять его к себе.

Dottie. Материнское благословение

Метроном отсчитывал ритм, а тихий голос отмерял в такт ему: «Un, deux, trois, quatre...» Девочка, сидевшая за небольшим салонным фортепиано, более всего на свете боялась сбиться случайно, взять неверную ноту, замешкаться или, напротив, поспешить. Тогда останется только сухой стук метронома. А голос, тихий и нежный, смолкнет, и тапан встанет, шурша юбками, и скажет строго: «À l'abord, Dorothee», и от каждого слова будет веять холодом и обидой. Девочка никогда не спрашивала себя, почему тапан обижается, когда у нее что-то в гамме не получается, отчего в этом голосе появляется столь много металла, стоит ей услышать неверный ритм. Когда Дотти – а так звали эту девочку, худую, высокую, веснушчатую и рыжую, в коротковатом платьице и с тугой косой, перевязанной белым бантом, – выполняла урок музыки, разучивала новую пьесу, она представляла, что создает великое творение. Неверная нота – и гармония разрушена, творение выходит некрасивым. Такое бывает, когда пишешь письмо – и словно что-то дергает под локоть, случается клякса. Или рисуешь, проводишь неверную линию – и вот уже рисунок изуродован. Как хрупка красота! Пожалуй, Доротея бы больше огорчилась, если бы матушка была снисходительной к ее ошибкам и не понимала бы, что портить красоту и нарушать гармонию недозволительно.

Позже, вспоминая, что было до и что было после этой комнаты со стенами, обитыми розовато-сиреневым шелком, этого кабинетного фортепиано с желтоватыми клавишами, шороха материнских юбок и прохлады, веющей из сводчатого окна, Доротея понимала, почему она

полюбила музыку. Именно во время этих занятий мать была рядом с ней и могла напрямую высказать свою радость или неудовольствие. Музыка помогала им обоим – в ней все зависело лишь от них самих. Совсем не как в жизни, где их обеих, как надоевших кукол, вышвырнули за пределы России. Все из-за того, как говорили, что матушка дала своей лучшей подруге, ставшей великой княгиней, непрошенный совет, та этому совету последовала, и муж этой лучшей подруги обрушил всю силу собственного гнева на матушку. Ей пришлось разлучаться с детьми, но дочь позволили взять с собой. На эту дочь, девочку худенькую и рыжую, ласковую, словно котенок, мадам фон Бенкендорф питала далеко идущие надежды. Ее она хотела сохранить и спасти от непредсказуемости и гнева. Поэтому нынче они находились в Монбельяре, и окна, выходящие в сад, показывали безмятежные зеленые кущи с лиловыми проблесками цветущей сирени, и каждый их день был заполнен музыкой и галантными увеселениями.

Анна Юлиана фон Бенкендорф сочла опалу вечной. Разлуку с мужем и сыновьями – тоже. А дочь ее должна была сделаться фрейлиной принцессы Вюртембергской. Судьба самой же Анны Юлианы была окончена, и она это понимала. Судьба ее дочери, названной в честь лучшей подруги, только начиналась, и нельзя было, чтобы ее перебило в самом начале.

А пока – сухой стук метронома, стрелка ходит туда-сюда, и девочка в светло-зеленом, под цвет глаз, платье, перехваченным розовым кушаком, играет гамму и слушает счет. Так повторялось изо дня в день. Конечно, были и обеды, и увеселения, и игры с юными принцессами Вюртембергскими, пухловатыми блондинками в кисейных платьях, и другие занятия – этикету, танцам, французскому, на котором девочка Дотти уже настолько свободно говорила, что из памяти почти полностью выветрился ее родной язык, и прочим изящным наукам. Но именно музыкальные занятия она запомнила более всего.

...В один из дней Анна Юлиана познакомилась с соотечественником ее супруга. Доротея запомнила, сколько же было в этом кавалере блеска – не военного, а светского. Мужчины, которых девочка доселе видела, были все грубы, и пахло от них табаком и порохом, и в танцах они были неловки, и даже мальчишки уже носили в себе задатки суровой мужественности. Граф Эжен де Анреп – так его звали, и звучало его имя весьма галантно, будто бы прибыл он из Франции, ныне порушенной и полыхающей в огне революции. Они с матушкой беседовали в гостиной, нашли много общего, и Дотти уловила как-то: «Je ne crois pas que vous êtes vraiment le baron Baltique», и тот снисходительно улыбнулся и посмотрел на Доротею так, как на нее доселе никто не смотрел. От этого взгляда ей захотелось убежать, закрыться в комнате. Но она только улыбнулась.

После этого мать отослала ее готовить уроки, но Доротея, прилежно выводя строки из хрестоматии, могла слышать весь разговор.

– Вам скажут, что я был уже женат...

– Какая потеря! – восклицала матушка. – Ведь она была совсем юна.

– Увы, Господь меня не пощадил. Я хотел бы утешиться...

Далее они понизили голоса, но потом Дотти уже услышала:

– Ma fille est très jeune aujourd'hui mais c'est le temps de prendre les décisions pour le demain.

(Моя дочь сейчас очень юна, но нынче настало время принимать решения на будущее)

– Mais votre mari... (Но ваш муж...) – возражал Анреп.

– Il sera d'accord avec moi (Он согласится со мной), – уверяла матушка.

Гладкий французский говор наполнял ее душу надеждой, и синие глаза кавалера говорили о многом, и лицо его, тонкое и нежное, виделось перед ней, и руки его соприкасались с ее пальцами в менюэте, и как же это было хорошо...

И на следующий день он присутствовал на уроке музыки, и она трижды сбилась, чувствуя его пристальный взгляд, устремленный на ее спину, прямо между острых лопаток, вырисовывающихся под тугим лифом платья, но отчего-то ей больше не было стыдно и плохо.

– Вы так играли, Dorothee, – проговорил он, после того, как последняя нота поставила точку в музыкальной пьесе. – Я никогда не забуду этой мелодии. И всякий раз, когда буду слышать ее, стану представлять себе вас.

От этих слов покраснела даже сама матушка. Та, нежная блондинка, покраснела всегда до корней волос.

– Dites donc... – начала она. – C'est trop tôt. (Скажите тоже... Это слишком рано)

Но он улыбнулся столь же пленительно и даже слегка поклонился.

– Grand merci, – Доротея сделала книксен, ровно так же, как учили, и не могла не чувствовать, как взгляд этого человека оценивает, измеряет ее. Почему она?.. Граф Анреп всегда будет так сидеть, пока она играет? Хоть бы нет. Иначе музыка исчезнет, превратившись в хаос под его пристальным взглядом, устремленным на ее шею, грудь, на рыжевато-золотистую косу, спускающуюся вниз, почти до талии. Иначе даже матушка исчезнет, как лишняя, и Дотти останется с ним наедине. А находиться с этим кавалером наедине ей не хотелось.

Хорошо, что этот Анреп являлся к ним далеко не каждый день. Дотти спрашивала маму о том, что его явления означают, и что он за человек такой, и чуть ли не выдала себя с головой, спросив, был ли он до этого женат, и почему носит гладкое золотое кольцо на левой руке – неужели вдовец? Мамап делала вид, будто эти вопросы ее не касаются, что ужасно бесило Дотти. Потом девочка добавила:

– Но пусть он не приходит на уроки музыки. Он мне мешает.

Мамап нахмурилась и проговорила:

– Это я решаю, Dorothee, как проходят наши уроки и кто на них присутствует.

Доротея старалась быть послушной дочерью – на прошлое Рождество она именно такое обещание дала – и не смела дерзить матери. А сама стала думать – как же быть, ежели этот Анреп снова явится?

Тот явился еще раз, когда Дотти была свободна от занятий. И поговорил с ней о музыке.

– Вы не хотите учиться играть на флейте? – спросил он.

Доротея покачала головой в изумлении. На флейте?..

– Мне сначала требуется как следует освоить фортепиано, – отвечала она.

– Я так думаю, вы уже освоили его в совершенстве, – улыбка тронула его узкие губы.

– Ах, вы мне безбожно льстите, – в интонации Дотти появилось что-то кокетливое, женское, заставившее вспыхнуть ее собеседника под слоем пудры.

– Ничуть, – тихо произнес он. Дотти закрыла глаза. Многие представилось ей перед взором, и она очнулась ровно тогда, когда поцелуй ожег ее руку. Распахнув веки, она одернула ладонь и спрятала ее за спину, словно та была испачкана. И слова его донеслись сквозь пелену:

– Мое расположение к вам всегда останется неизменным... .

– Как и мое к вам, – отвечала она, бледнея. Что все это значит?..

Далее все прекратило что-либо значить, поскольку во время одного из уроков музыки мамап резко побледнела и откинулась на спинку кресла. Дотти прервала гамму на половине ноты и встала, устремившись к матери. Девочка никогда не могла забыть, как ее светлое и нежное лицо покрылось синевой, и как темные пятна крови окрасили ткань ее палевого платья, оттороченного белыми кружевами, и как Дотти отчаянно звонила в колокольчик, и прибежали горничные, и подхватили матушку под руку, и как остро пахло лекарствами в затемненной спальне, и как сама Дотти ничего не понимала, кроме одного – матушка изошла кровью и может умереть, потому как кровотечение и бледность – это верная смерть, и продолжалась эта болезнь долго, и надо было писать письма, и девочка быстро, стараясь не ляпать кляксы и помарки, передавала на бумаге то, что мать диктовала ей слабым голосом.

И в последние дни, когда доктор объявил: «Безнадежна», а Доротея отложила перо, дописав последнее материнское послание туда, в Петербург, к венценосной подруге, с поздравле-

ниями в честь восшествия последней на престол, девочка получила странный дар от матери: золотую подвеску с крестом, вокруг которого обвивался цветок розы.

– Помни, я всегда буду рядом с тобой, – произнесла мать. – А теперь... я устала. Пусть позовут Анрепа.

Тот явился, и Доротея подивилась на его рост, на голову выше ее самой, и затем их руки были скрещены, и мать проговорила:

– Благословляю вас обоих. Живите счастливо... вместе.

Так их обручили.

Через три дня мать умерла. И уроки музыки закончились, и Монбельяр тоже закончился, и Доротею, вместе с телом матери, увезли в Ригу, и не было слез, и не было грусти, ибо эта напудренная кукла в розовом платье и белом гробу – не мать ей.

Доротее было одиннадцать лет, и она доселе не знала, что есть горе

Анреп пришел перед тем, как все вещи для отъезда Дотти были собраны, и он говорил что-то о хрупкости и тленности жизни, и вырвал обещание писать, и даже упросил у нее на прощание локон, который она срезала легкомысленно, прямо из косы. В эту минуту она завидовала самой себе, и, несмотря на скорбь, мир был полон красок.

Материнское благословение, такое как везде, и явилась женщина, величественная и строгая, обнявшая ее, сестру и братьев, по которым Дотти так соскучилась, что забыла все скорби, и серое небо, сочившееся дождем, а затем и другая величественная дама, мадам Лафон, принявшая их под опеку.

Других девочек они видели лишь на занятиях; жили они вдвоем, с молоденькой гувернанткой Элен фон Бок, и много вольностей позволялось им, и Дотти могла писать Анрепу куда угодно и когда угодно, и в театр их возили трижды в месяц, где их встречали музыка, огни и рампы.

И Дотти всегда могла подойти к пианино и выразить – чужими нотами и чужими чувствами – что ей одиноко, что она не знает, что будет дальше, и почему их всех, тех, кто у нее остался, так уж необходимо разделить. И золотой кулон – роза и крест – всегда оставался у нее на груди, последнее материнское благословение и завет того, что придет время, и тот, кому она пишет письма на трех страницах каждую неделю, заберет ее снова в комнаты с розовыми обоями и сводчатыми окнами, откуда льются звуки менуэта, а вечером сад освещают мерцающими фонарями, где господа элегантны, а дамы бледны и нежны, где не надо учить то, что не хочется, общаться со скучнейшей старшей сестрой, ходячей добродетелью, и ловить на себе завистливые взгляды других девочек. Она верила, что когда-то этот день настанет, когда-нибудь она вырастет и станет настоящей барышней, как старшие, как фрейлины, как великие княгини и старшие великие княжны. Доротея представляла себе, что волосы ее посветлеют и утратят этот пошловатый медный блеск, а глаза обретут безмятежность вечернего весеннего неба, и кожа станет чистой и белой, и фигура обретет плавность и мягкость, и она научится говорить столь же певуче, и двигаться столь же легко, как великая княгиня Елизавета или великая княжна Елена. И будущее, которым она жила, казалось ей ближе настоящего. Гораздо ближе.

Глава 5

CR (1827)

Многие полагают, что вмешательство России в события, происходящие на юге Европы – дела недавних дней. Но тому уже около сотни лет. С тех пор, как Россия из Московии стала Империей, невозможно не игнорировать существование соседей. И невозможно отвергнуть собственную миссию, заданную еще великой бабкой нынешнего государя. Она провозгласила, можно сказать, новый Крестовый поход по свержению султана, и тогда, в ту пору лишь одна Франция, уже пораженная чумой якобинства, могла противиться этим планам. Сейчас, когда есть все возможности продолжить этот quest и сбить золоченый полумесяц с храма Священной Мудрости, все упираются и прозывают нас сумасшедшими.

Как странно, что я помню, когда началось молчаливое противостояние России, Британии и Франции во Средиземноморье. Более того, в те годы я уже играл определенную роль в политике, несмотря на свой юный возраст. Но в делах дипломатических я ничего не решал, хотя именно тогда понял, как они делаются.

А началось все с Мальты. Покойного императора Павла принято осмеивать за столь явное рвение взять тамошний рыцарский орден под покровительство. Даже говорят, что именно в его увлечении госпитальерами и проявились первые признаки безумия.

На деле же все это имело под собой трезвый расчет. Следовало возобновить войны с якобинцами и ныне активно включаться в войну. Государь клял свою мать еще и потому, что та самоустранилась от войны с якобинцами. Он часто говорил об этом со мной. «Эх, дали бы мне десять лет наперед, и никакой бы революции не было, и Буонапарте никакого не было, и законность с порядком восторжествовали бы в Европе!» – так произносил государь, поднимая вверх руку. Потом добавлял: «Матушка моя Радищева сослала, Речь Посполитую в крови утопила, а против жакобинцев ничего не делала. Как думаете, стоило бы нам тогда помочь?» Мне ничего не оставалось делать, как соглашаться. Я тогда мало представлял себе, как делается *grand politique*. Хотя в глубине души я полагал, что причина – в скупости англичан, помноженной на трусость Бурбонов и на неудачливость австрийцев. Наша же *die Alte Keiserin* решила обойтись малой кровью, и вполне возможно, что была права. У нее было куда более насущных дел.

После этих разговоров о *grand politique* сразу же, почти без пауз, шли рассуждения государя о переустройстве Петербурга на манер военной крепости (я не знаю, почему он вел их со мной, а не с генерал-губернатором столицы), о допустимой длине офицерских кос (приходилось натурально мерить аршином каждое утро – вдруг, не дай Боже, волосы успели отрасти за ночь), и о многих прочих мелочах. Император Павел стремился охватить все своим взором, а за любое проявление нерадивости – будь то принадлежность к враждебной ему еще в бытность цесаревичем придворной партии или допущение ношения прохожими круглых шляп, которые, по его мнению, закладывали в покрытые ими головы недозволенные мысли, – следовала отставка. И не тихая-мирная отставка, а практически публичная порка. Доставалось даже великим князьям. Я просто поражался, с какой покорностью великий князь Александр выносит эти взыскания. Любой другой бы взбунтовался. Наследник престола относился к фрунтовой службе со всей серьезностью, и он старался сделать все возможное, чтобы отец его был доволен, что случалось, увы, не часто. Я и сам просыпался и засыпал с мыслью, что могу навлечь на себя неудовольствие, и никто бы не мог угадать, чего это неудовольствие стоило. Вокруг государя собиралась гатчинская партия, в ней первым был печально известный Аракчеев, коего я возненавидел уже тогда.

Впрочем, я хотел написать совсем об ином. О том, зачем императору Павлу на самом деле нужна была Мальта.

Вкратце – неплохая база в Средиземноморье нам не помешала бы. Англичане, которые хотели покровительствовать Ордену, самоустраились, французы готовы были убить Братьев всех до единого и упразднить самую их суть. Несчастные рыцари возопили о помощи, и их услышала третья сила – мы.

Тут мне также следует вернуть пару слов о дипломатическом искусстве Великого бальи Литты. Это был человек, наделенный большими познаниями и крайне ловкий. Он прекрасно сумел направить романтические порывы государя в нужное русло и получить все, что лично желал (а желания у него были весьма приземленные – деньги, чины и земли, ну и заодно соблазнительная племянница князя Потемкина), и чего желал его Орден. Что он государю такого наговорил, я не ручаюсь, ибо при сих беседах не присутствовал. Впрочем, мое отсутствие во время этих душеспасительных разговоров не гарантировало свободы от подозрений графа Литты, который вместе со своим братом в осень Девяноста восьмого сделался чуть ли не новым фаворитом.

Отмечу, что как раз в ту пору меня приманивали к себе различные партии, и даже моя матушка вздумала вступить в интриги, пользуясь влиянием, которое она с семьей нынче имела при Дворе, и вечно давила на меня с тем, чтобы я поступал в соответствии с ее расчетами. А они были у нее простые – я должен был не переходить дорогу графу Безбородко, которого матушка всячески выгораживала, помогать братьям-остзейцам, особенно приснопамятному фон дер Палену, которого она вывела из опалы, и держаться подальше от «нечестивых папистов» (последнюю фразу матушка всегда произносила шепотом и по-шведски, чтобы лишние уши не слышали). Последнему я был и сам рад, поскольку все, что я видел при Дворе, напоминало мне какую-то дурно сыгранную комедию. Когда мальтийский крест – белый на алом фоне, словно знак-перевертыш символа Ордена, к которому я уже несколько месяцев как принадлежал, – засиял на знаменах, на колетах кавалергардов, – я воистину думал, что пора мне уже уйти в отставку и запереться в деревню.

Самого же меня влекло в кружок Наследника, откуда веяло чем-то здоровым. Но меня там никто не ждал. Будущий государь сам был в растерянности и лишь исполнял волю своего отца. Люди вокруг него меня привлекали, среди них я видел тех, кого мог бы назвать друзьями. В этот круг меня ввел молодой князь Пьер Волконский, с которым я поддерживал если не дружбу, то приятельство, но я, как и он, только стоял и слушал, мало высказываясь от себя.

Вскоре на одном из придворных балов меня, как всегда, стоявшего у стенки и обзревающего пространство, за локоть подхватил блистательный граф Литта. Глядя на этого импозантного миланца, я всегда думал о Лоренцо Великолепном или Родриго Борджиа – призраках минувшего времени, замечательного и страшного, с ядами и красавицами, развратом и набожностью. Такими они и должны были выглядеть. Руки, отягченные перстнями, в которых должны скрываться сильнодействующие яды; четки, обвивающие его могучие запястья, общая легкость и непринужденность, пленившие воображение не одной только госпожи Скавронской.

– Мне очень нужно с вами поговорить, – произнес он тихо. – Это касается и вас, и меня, и государя.

– И грядущей войны, надо полагать? – я быстро понял, что мне нужно перейти от формул любезности к делу, иначе меня опутают эти сладкие ядовитые сети.

– В том числе, и этого. Мы с братом ждем вас завтра в восемь. Пообещайте мне, что приедете.

Я не мог дать ему такого обещания. Мне сразу показалось, что меня там же и сломают. В его темных глазах я узрел намек на то, что меня попытаются вовлечь в некую интригу. Или, точнее, меня считают вовлеченным в интригу. Но я ни словом, ни делом не дал понять, что

считаю всю затею с приоритетом Государя фарсом. И вообще, кто я был таков, чтобы со мной считаться?

– Мне все известно, – продолжил он, оглядывая меня с ног до головы. – Магистр проклят и казнен, а дело его живет.

Последнюю фразу он проговорил по-латыни, и я смог ее разобрать. А, разобрав, резко побледнел, что немедленно выдало меня с головой.

В ту пору, однако, мне было известно не очень многое про наш Орден. Я не мог связать то «Общество Розы», в которое вступил при самых странных обстоятельствах летом Девяносто восьмого, и прославленный некогда Орден, взявший Иерусалим и его же потерявший. Об этом я прочитал в одной из немногих книг с экслибрисом моего деда. В ней говорилось об истории рыцарских орденов. После абзаца, повествующего об ереси, в которую впали Храмовники и за которую были казнены, рукою чей-то (верно, моего же деда) было приписана та самая фраза, проговоренная графом Джулио Литтой. Оттого-то я и впал в некоторую панику. Мне ничего не оставалось делать, как идти к нему. Не хватало, чтобы он выдал нас...

Очнувшись от минутной паники, я сказал себе: «Ну и что? В сущности, пусть убивают». Потом сразу же возразил: «Они сделают это наиболее позорным для меня способом. И не пощадят тех, кто со мной связан...»

По прошествии некоторого времени я смог полностью понять сущность опасений графа Литты. Он боялся моего влияния на наследника и государя. Наш Орден – совсем не столь тайный, как я полагал ранее. И о нем знали не только его члены, но и враги. Враг же у Храмовников с 14 века был один – Папа Римский, а с ним – и все, кто действует «к вящей славе Божьей».

Велась игра, в которой про императора никто и не помнил. Известное дело – когда подданные интригуют, государи полагаются лишь фигурами на шахматных досках. Они несведущи в том, что происходит рядом с ними, и часто оказываются невольными жертвами, попавшись в искусные капканы, установленные вокруг их тронов для охоты на других придворных. Я знал лишь одного Государя, который умел эти капканы разрушать. В описываемую мною пору он был лишь юношей, покорным воле своего отца, но вынашивающим далеко идущие планы.

Итак, несмотря на то, что смертельная бледность на моем лице говорила сама за себя, я нашел в себе силы подобрать латинские слова, сложив их в следующую реплику:

– Сила с вами, с нами же правда.

Граф посмотрел на меня куда более уважительно. Он прошептал:

– Ежели чего вам надобно, могу доставить всенепременно.

– Мне надобно, чтобы вы не полагали меня вашим врагом, – я слегка улыбнулся и хотел было откланяться, как мой визави продолжил:

– Но мне огорчительно, что я не могу считать вас другом.

– Вряд ли таким поведением вы добудете себе много друзей, – пожал я плечами.

Улыбка на его красивом лице слегка померкла. Но он все равно проговорил:

– Вы мне крайне нравитесь, барон. Все же мое приглашение остается в силе, и я готов вас видеть, когда вам будет угодно.

Я твердо попрощался и поехал домой обдумывать свою жизнь.

В ту пору я уже приобрел собственную квартиру, на Миллионной, в верхнем этаже, на двадцать комнат.

Я просидел до утра в своем кабинете и выкурил, наверное, пол-сигарного ящика. Ситуация мне очень не нравилась. Я мало понимал, что именно от меня надо графу Литте, то, что мог понять, мне крайне не нравилось. Идти или не идти на это свидание? Любое решение, которое я мог бы принять, не казалось идеальным. И, главное, не к кому обратиться за советом! Армфельд был далеко, не в России, и я не знал, куда ему писать и имею ли вообще право ему писать, людей, которые посвящали меня, я не знал, друзьям и родственникам я не мог довериться в этом деле. Да и вообще, что от меня хотят? Если Литта полагает меня способным

повлиять на решения Государя, то ошибается – я не более чем его секретарь, несмотря на мое громкое звание и высокую должность. И кто вообще ему сказал, что я буду действовать против Мальтийского ордена? Конечно, мне лично такое решение не могло сильно нравиться, но я бы не рискнул навязывать свое личное мнение государю. И граф Литта, при всех его талантах к интригам, не мог этого не понимать. *Если только не полагал, что за мной, как и за ним, стоит мой Орден.* В этом-то вся и проблема. Я должен был хранить тайны, которых мне покамест не поручали. Я должен был сопротивляться интригам, суть которых не понимал. И мое невежество в делах Ордена могло обернуться во вред не только мне...

Под утро я задремал, но только забылся, как меня растолкал слуга – надо было идти на доклад к Государю. Все муки прошедшей ночи отступили на второй план, чтобы, подобно теням мертвых, вернуться ко мне ближе к вечеру, аккуратно к назначенному графом времени нашего свидания.

И я принял решение. Я пойду и, как говорят британцы, shall take the consequences. Потому что обратное означало трусость, а я со своей вновь приобретенной осмотрительностью и обремененный всеми высокими чинами, полученными из рук власть имущих, остался тем же самым человеком, что два года назад помчался преследовать беглого пленника, сам оказавшись в плену, а еще ранее – в Вандее. Неужели я, не боявшийся ни кровожадных горцев, ни фанатичных якобинцев, испугаюсь какого-то толстого итальянского интригана? Каких-то карнавальных «рыцарей»? Да и что он со мной сделает – не убьет же? Времена Борджиа и Медичи миновали, уже более века как обычай подсыпать яд противникам вышел из обихода. С врагами теперь можно расправиться обычным доносом. А Государь вряд ли поверит этому доносу...

Дело сделано, я переоделся, помедлил, глядя на оружие, развешанное над моей кроватью, – к своей коллекции я добавил еще несколько кинжалов, шпаг и пистолетов, – но покачал головой и решил ничего не брать. Важно было показать, что я ни в чем не подозреваю своего хозяина. И если он предпримет что-то против меня, в чем я глубоко сомневался, то вина будет на нем. А я уже не безвестный поручик, чья гибель не обратит на себя никакого внимания. При мысли о своей вероятной гибели я и почувствовал: за моей спиной стоит Одиннадцать других. И они будут мстить. Непременно. Так как поймут мотивы своих врагов – папистов.

...Гостиная графа Литты была устроена со всем роскошеством настоящего палаццо. Хрустальные люстры, свисающие с потолка, золотые канделябры, огромные зеркала, персидские ковры, в которых утопали ноги, низкие оттоманки, картины старых мастеров, на которых цвел южный рай. Аромат лучших благовоний наполнял все это великолепное помещение, и было здесь тепло, даже жарко натоплено.

Граф приветствовал меня радушно:

– Ах, вы, барон. Заходите, располагайтесь, простите за скромное убранство, я еще не вполне освоился.

– Где же ваш брат, Ваше Сиятельство? – спросил я, оглядываясь.

– К сожалению, он несколько нездоров и не может присутствовать здесь. Но моя супруга и ее дочери скрасят нашу компанию.

Тут бы мне расслабиться вконец. Ежели здесь присутствует прекрасный пол, то разговор явно пойдет о чем-либо легкомысленном, а не о серьезных делах; тогда я еще не до конца понимал, что и дамы с барышнями вполне могут представлять опасность не только со стороны разбитого сердца.

Супруга моего хозяина была приснопамятная племянница Потемкина, блондинка с роскошными формами и томными движениями. Очень немногословна, впрочем, в ее присутствии разговор вращался исключительно об отвлеченных вещах. Пошел второй час нашего визита, и беседа не шла дальше обсуждений театральных представлений, лошадей и красот природы. Мне это уже начало надоедать, и я стал с нетерпением поглядывать на хозяйку, полагая, что именно ее присутствие мешает графу перейти к делу, ради которого он меня позвал. Наконец,

та под каким-то предлогом откланялась, и мы с Джулио Литтой остались наедине. Я ожидал, что светская беседа прекратится, и мы перейдем наконец-то к делу. Но мой хозяин все подливал мне вина и заговаривал мне зубы какими-то пустыми словами. Наконец, я сам произнес, с трудом отталкивая от себя очередной бокал с недопитой малагой:

– Помнится, давеча, Ваше Сиятельство, мы говорили о том, что мое влияние вам нежелательно.

– Разве ж мы о таком беседовали? Не припоминаю, – Литта воззрился на меня своими продолговатыми черными глазами так, словно я внезапно сошел с ума. Я подумал, что надо было отказываться от вина с самого начала – я подозрительно быстро пьянел и хмель этот делал меня веселым и общительным, а вовсе не мрачным и замкнутым, как обычно. Возможно, в напиток что-то подсыпали, дабы я развязал язык и высказал все тайны, какие у меня были, абсолютно добровольно.

Я понимал, что зря дал намек, но слово уже сказано, надо было продолжать:

– Я сам бы предпочел о сем не вспоминать, – высказал я. – Тем более, я не совсем тот, кто вам надобен.

– Почему же? Именно вы нам и нужны, – вкрадчиво произнес граф Литта. Его слова подействовали на меня очень даже тепло, словно мне объясняются в самых дружеских чувствах.

– Чтобы заставить меня выдать тайны? – меня несло, а действие выпитого уже начало сказываться – начало сильно тошнить. – Но я, право слово, никаких тайн не знаю.

– Этого, друг мой, не было в моих намерениях. Я ведь догадываюсь, что будет с нами, если мы выдадим тайны друг друга, – его лицо, гладкое, тяжелой лепки, как у римских патрициев, оказалось слишком близко от меня, и я невольно отодвинулся от него.

– Смерть? – прошептал я, борясь с подступившей к горлу липкой тошнотой.

– Есть на свете вещи страшнее смерти.

– Что же вы от меня хотите? – проговорил я почти отчаянно, стараясь не выдать своего состояния.

– Вы близки с Его Высочеством...

– Кто вам сказал, что я с ним близок?

Литта отмел мои возражения, продолжая:

– И мне бы очень не хотелось, чтобы в лице юного принца и его окружения составила бы оппозиция нашему Ордену.

– Почему же она должна составиться? – я отвернулся от него и краем глаза заметил вдалеке, у проема, соединяющего столовую с гостиной, какое-то движение. Повяло изысканными духами: запах ночного жасмина ударил мне в голову почище отравленного вина, которым меня только что отпотчевали.

– Потому как нам известны взгляды Его Высочества.

– И эти взгляды совпадают с взглядами Его Величества, – я усилием воли заставил себя вновь посмотреть хозяину своему в глаза. Кажется, меня начало немного отпускать, тело мое переработало отраву, смешанную с хмелем, и в голове появились проблески ясности.

– Вовсе нет.

Я воспользовался этой фразой и, усмехнувшись, произнес, чувствуя, что одерживаю верх:

– Любопытно, граф, что же заставляет вас тому верить?

– Знайте, – он улыбнулся столь же радушно, как и ранее. – У нас есть свои люди в окружении цесаревича. Поэтому мне об этом точно известно.

– Ежели у вас есть свои люди, то почему же вы столь страшитесь меня?

– В нашем деле надобна осторожность, – добавил уклончиво Литта. – Необходимо заручиться поддержкой всех, кто может представлять хоть какую-нибудь опасность.

– Вы льстите мне, – начал я, но не успел продолжить.

У себя за спиной я слышал легкие шаги по паркету, шуршание шелков, и аромат диковинных духов стал сильнее. Он принадлежал не графине, это я мог сказать с точностью.

– Присаживайся, Мари, – проговорил Литта поверх меня. – Знакомься, наш гость, барон Ливен.

Я с трудом встал и поклонился девушке – старшей падчерице графа, про себя досадуя, что так и не выясню, что именно от меня хотят Великий бал и его Орден. Впрочем, рассмотрев нашу спутницу, я ничуть не пожалел о ее присутствии. Потому как она была диво как хороша. Ей было не более шестнадцати годов, но она уже обладала замечательно развитой фигурой, а ее золотые волосы, не напудренные, а потому шелковистые, ниспадали на плечи крупными локонами. На меня без любопытства, но и без скуки смотрели ее томные, голубые без блеска глаза. Добавьте ко всему этому нежный румянец и чувственные уста, и поймете, что же меня привлекло в этой девице. В ее облике, в каждом ее движении ощущалась божественная невинность в соединении с некоей тайной порочностью, – именно то, что заставляет мужчин совершать безумства на почве страсти. Ежели вы вспомните ее младшую сестру, приснопамятную княгиню Багратион, la chatte blanche, которая все отказывается превращаться из Мессалины в почтенную матрону, то поймете, что же из себя представляла графиня Мари Скавронская-Литта. К тому же, сестры очень схожи между собой, но старшая не стяжала столь скандальной славы, хотя тоже, мягко говоря, ангелом могла прозываться лишь в переносном смысле.

Ответив на мое приветствие, девица села между нами и тихо проговорила:

– Надеюсь, я вам не помешала.

– Помешали, Марья Павловна, – улыбнулся слегка я.

– Опять вы, топ рёге, о скучном беседуете, – она оглянулась на своего отчима вполоборота, так что ее розовый платок слегка сполз, открыв замечательный изгиб стройной шеи и часть пышного плеча. – Дела да дела. Сколько ж можно, неужто у вас и вечером дела?

– Ежели разговор бы деловым не был, Христофор Андреевич бы здесь не находился, – снисходительно проговорил граф.

– Да? – она прямо взглянула мне в лицо, и, поверьте, я был сражен ее взглядом, что неудивительно, учитывая мое не вполне еще трезвое состояние и общую молодость. – Вы бы правда к нам в гости не пришли?

– Ежели бы вы находились с нами все время, ma chère compresse, то я бы и не покидал ваш дом, – проявил я галантность.

– Ловлю вас на слове, – она улыбнулась, обнажив редкой белизны зубы, и ее округлое личико сразу же приобрело детскую наивность. Я тут же устыдился неуместных картин, которые подкидывало мне воображение. Она же сущий ребенок, чистая и непорочная барышня, а я туда же, грязный извращенец... Но при этом я готов был поклясться на чем угодно, что невинные девицы так смотреть не могут и не умеют. Этот контраст и переменчивость изрядно сводили меня с ума в последующие недели.

– Моя дочь права, вам следует бывать у нас, – проговорил граф Литта. – Вы отличный собеседник, что редкость.

Я ничего существенного и остроумного за все часы визита не сказал, поэтому счел это грубой лестью.

– Не краснейте так. Для того, чтобы зваться отличным собеседником, красноречие вовсе не обязательно, – добавил он. – Вы умеете слушать. А это дорогого стоит и очень нечасто встречается.

Слова его были подкреплены теплым взглядом небесно-голубых, с кошачьим разрезом глаз его падчерицы.

«Умею слушать – значит, могу подчиняться вашим планам?» – чуть было не сказал я. Но промолчал. Потому как почувствовал, что моя прекрасная соседка невольно коснулась

моей ноги под столом, и что тепло ее тела, осязаемое под тонким шелком ее платья, доводит температуру моей крови до состояния кипения. Я уже был достаточно распален, чтобы при малейшей неосторожности и в отсутствие графа Литты наброситься на нее и взять свое. Мысли об интригах и коварстве выскочили у меня из головы почти полностью в этот миг, потому как я попался в старую, как мир, ловушку плотского соблазна. При этом я вполне отдавал себе отчет, что не люблю ее, а лишь желаю ее тела, и будь она не столь высокородной и не девицей шестнадцати лет, я бы взял ее в тот же вечер – и не один раз, надо полагать.

Итак, я дал негласное обещание приходить к графу и его, увы, сдержал. А придя домой, завалился спать в одежде, и чуть было не проспал час своего появления при государе – спасибо Якобу, без него я бы получил полный абшид. При этом поутру я испытывал жесточайшее похмелье, которое не могло дать то мизерное количество вина, которое я принял внутрь. В докладе я напутал кое-какие цифры и фамилии, и государь на меня пару раз повысил голос, но увидев мою бледную и тоскливую физиономию, он проникся ко мне состраданием и сказал: – Что, худо тебе? Как бы горячка не случилась. Ступай домой, полежи.

Не веря ушам своим, я отправился прочь, подумав, что неплохо бы отправиться к Наследнику и поведать ему о подозрениях графа Литты. Лишь только я проговорил про себя имя графа, так сразу же вспомнил о его пленительной падчерице, о том, какие авансы мне она давала, и постепенно приободрился. Потом я вспомнил о том, что она внучатая племянница Потемкина-Таврического, наследница всех этих бриллиантов, десятин, крепостных. Эдакое сочетание красоты и богатства нечасто встречается – обычно или одно, или другое преобладает, а тут все сразу. Связывать обязательствами себя мне пока не хотелось, но ежели дело дойдет до женитьбы...

Приехав домой, я почувствовал себя уже почти вылечившимся, если не считать головной боли и отсутствия аппетита. Я приказал слуге сделать накрепчайший кофе, закурил и начал раздумывать о своем будущем, которое виделось крайне радужным. С карьерой у меня все неплохо и расположение ко мне государя более-менее прочно. Это хорошо. Граф Литта, конечно, смутный тип, но наличие у него соблазнительной падчерицы все дело меняет. Я буду являться к ним, искать общества графини Марии, ухаживать за ней – судя по ее поведению, я продвинусь на этой стезе крайне быстро, потом посватаюсь – и уже с этой позиции буду диктовать условия графу Литте. Таким образом, я устраню потенциального врага, объединившись с сильными мира сего, коими ныне представлялись мальтийцы, еще и получу в свое распоряжение богатую и красивую невесту – даже моя матушка, которая наверняка выскажется против «этой развратной русской», приумолкнет, увидев, сколько именно приданого за нее отдадут. Одно мне не приходило в голову – что именно того от меня граф Литта и хотел.

Что ж, этот случай послужил мне уроком. Он мог быть куда более болезненным, если бы мне вовремя не открыли глаза на то, что на самом деле происходит.

Санкт-Петербург, декабрь 1798 г.

...Кристоф уже не в первый раз являлся в этот дом, наполненный экзотическими ароматами юга и напоминавший теплицу, в которой созревали диковинные и, очевидно, смертельно ядовитые растения. Он догадывался, что слухи уже пошли, и гадал, чьих ушей они уже успели достигнуть. Но, как бы то ни было, пока вопросов о том, что, собственно, он забыл в доме графа Литты, ему никто не задавал. Тем более, он был не единственным, кого граф угощал от щедрот своих. Но лишь он был удостоен чести лицезреть графиню Мари Скавронскую в самой непринужденной обстановке. словно этот редкий цветок в оранжерее берегли специально для него. И это не могло не льстить самолюбию Кристофа. Позже, выходя из этого теплого и благоуханного места в сырую стынь петербургского декабрьского вечера, он словно приходил в себя, досадовал на свое поведение, и клялся более не поддаваться этим дешевым уловкам,

но уже заранее знал, что спустя неделю вновь явится в эту гостиную, и Мари будет перебирать пухлыми пальчиками струны арфы, наигрывая незатейливую мелодию, единственно для того, чтобы продемонстрировать свой стан и ловкость, и с ним будут вести неспешные разговоры ни о чем, подмечая каждое произнесенное им в ответ слово, каждый взгляд, каждое изменение интонации. Потому как он попался на крючок, подобно многим другим. Осознавая это в очередной раз, Кристоф называл кучеру известный адрес, где его ждала неизменная Настенька Берилова, у которой в эти дни как раз не было выступлений, и делал с ней все то, что мог бы сделать с Мари, если бы не десяток условностей. Он ждал, что закончится это очень скандально, и за этот скандал придется поплатиться.

В один вечер брат его, явившись с маневров раньше запланированного, подошел к нему и заговорил:

– Ты как лунатик. Неудивительно.

При этом Карл, по его обыкновению, как-то нехорошо ухмылялся, что не могло Кристофа не разозлить. Тот резко захлопнул книгу – какой-то пустой роман без особого смысла, о нем говорила, кажется, старшая из Скавронских, – и резко спросил:

– Что тебе в этом?

– Берегись, – Карл пребывал в довольно-таки благостном, по его меркам, настроении – судя по всему, он в этот раз неплохо провел полк на плац-параде, а потом оказался в выигрыше в штосс, поэтому не стал придирается к дерзости своего младшего брата. – Не оставайся с нею наедине.

Кристоф усмехнулся про себя. Конечно. Все нынче о нем говорят, и все прочат его в женихи юной Скавронской. Матушка, разумеется, тоже обо всем знает. Интересно только, почему еще не начала его распекать? Потому что отчим графини в силе, родственная связь с ним не повредит? Возможно.

Он посмотрел на своего брата, не вставая с кресла. Тот стоял в дверях, скрестив свои длинные руки на могучей груди и смотрел на него с некоторым даже сочувствием.

– Меня ж никто с ней наедине не оставляет, – обронил Кристоф, вновь открывая книгу, пытаюсь отгородиться ее кожаным переплетом от ироничного взгляда брата.

– Рано или поздно оставят. А потом, ты сам знаешь, что случится. Вовсе не то, на что ты так надеешься, – Карл как-то глумливо осмотрел его. – Поверь моему опыту.

Из пространных и нетрезвых разговоров брата, а также приятелей по кордегардии, Кристоф знал о подобных уловках родителей, желающих побыстрее сбыть дочку за жениха, кажущегося им хорошей партией. Девушку ненадолго оставляют наедине с кандидатом, он нетерпелив, она робеет, но втайне рада такому повороту событий, и лишь только оба готовы исполнить тайное желание, как врываются папенька и маменька с иконой наперевес, громогласно поздравляя растерянную молодежь.

– Впрочем, – продолжал старший из фон Ливенов. – Вполне возможно, что ты этого и добиваешься. Что за ней дают?

– Не любопытствовал, – сухо отвечал Кристоф. На самом деле, он-то как раз догадывался о сумме приданого, потому как граф Литта, конечно же, с умыслом заговаривал со своим гостем о делах денежных и земельных.

– Не верю, извини. Но догадываюсь, что побольше, чем досталось во время оно мне, – Карл с сожалением вздохнул.

– Вижу, ты не жалуешься, – бросил Кристоф, притворяясь погруженным в книгу.

– Просто я хорошо все устроил. Надеюсь, ты тоже не дашь себя обмануть.

Младший брат его реплику проигнорировал, и Карл ушел, напоследок усмехнувшись вслух.

После его ухода Кристоф отшвырнул дурацкую книжку в сторону, охваченный злостью худшего порядка – на самого себя. Брат, в сущности, был прав. Так все и получится. В сущ-

ности, союз с Литта-Скавронскими не даст ему ничего, а проблем принесет множество. Хотя сперва они будут незаметны.

И вновь наступил четверг, и вновь Кристоф, не задумываясь особо ни о чем, устремился в дом на Морской, где его, как он знал, ждали. В этот раз он даже считал нужным сделать визит, так как узнал, что через две недели предстояла церемония посвящения в Рыцари и Кавалеры, и он знал, что место в свите Государя, становившегося Магистром и Протектором Госпитальеров, за ним утверждено. Смешанные чувства его при этом охватывали, но отказаться от милости он не мог. Хотя и ожидал, что рано или поздно к нему придет кто-то из Братьев-Рыцарей – других Рыцарей, тех, которые не носят карнавальных лат и шлемов, украшенных страусиными перьями, а белые плащи с красным крестом надевают только по случаю посвящения новых adeptов – положит руку на левое плечо и шепнет: «*Нерешительность – худший из пороков*». Эту фразу Кристоф слышал тогда, в тот вечер – или утро – несколько месяцев тому назад, о котором он помнит очень немного. Но она как нельзя лучше подходила к ситуации, в которой он оказался нынче.

Людей в доме графа Литты было в этот вечер немало, но они после богатого ужина начали неспешно расходиться, свечи постепенно гасли в канделябрах, словно в театре перед представлением, и когда, наконец, Кристоф остался с ним и его братом Лоренцо наедине, и думал было откланяться, гадая, выйдет ли сегодня графиня Мари, присутствовавшая, вопреки своему обыкновению, на ужине, но удалившаяся вместе со всеми, и решив, наконец, что нет, не выйдет, хозяин поднял последний бокал, наполненный золотистым токаем, и проговорил:

– Остается только благодарить вас!

– В чем? – произнес Кристоф, оглядываясь.

Лоренцо подхватил:

– Не знаю, как вам это удалось, но никаких препятствий нашему Делу мы не встретили.

– Скажу вам откровенно, – возразил барон. – Я ни на что никогда не влиял.

– Но мы не верим в совпадения, – его собеседник поднял руку, и рубин на его указательном пальце многозначительно сверкнул в тусклом свете.

– Боюсь, что в этом случае придется поверить, – дерзкие слова выходили из него как-то вяло, словно он чувствовал, что они несообразны торжественности момента.

– Итак, – продолжал хозяин дома, не обращая внимания на сказанное Кристофом. – Наследник – наш. Император – целиком и полностью наш. Надо ожидать, что следующим делом он примет Крест и поведет Европу против сарацинов нового времени.

Барон кивнул нетерпеливо. Конечно же, он знал о намерениях Государя объявить тотальную войну Франции, заручившись поддержкой союзников, в коих недостатка не было. Но его насторожило то, что слова, которые с таким пафосом произносил император, граф Литта повторял нынче с едва заметной иронией.

– Таким образом, наше дело нынче обречено на победу. В том числе, благодаря вам. И было бы неверно оставить ваши усилия незамеченными, – Джулио Литта смотрел на него во все глаза.

– Повторяю, господа. Все мои усилия, как вы изволите их называть, заключались в полнейшем бездействии, – Кристоф почувствовал, как кровь отливает от его лица, – так всегда было с ним в минуты волнения или гнева.

– В этом и есть главное преимущество победителей. Воздерживаться, когда крайне хочется действовать, – заметил Лоренцо. – Доказывает зрелость натуры и ответственность за свои поступки.

Столько лести, сколько говорили ему в этом доме на Морской, Кристоф никогда ранее не слышал. Теперь, после произнесенных старшим из Литта слов, он припомнил похвалы своего бывшего друга, оказавшегося предателем, и словно ощутил холод кинжала, нацеленного ему в спину, горечь яда на языке, крепость стянувшей горло веревки...

– Что вы от меня хотите? – произнес он, четко выговаривая каждое слово и делая между ними длинные паузы.

– Ваша мать станет графиней, соответственно, вы – графом, – продолжал Джулио Литта. Кристоф усмехнулся.

– Вы умно действуете.

– Собственно, инициатива принадлежит исключительно Государю. Но, ежели бы вы все же начали чинить препятствия, то титула бы ваша родительница так и не дождалась.

Фон Ливен подумал: «Экая нелепость. *Граф Ливен*. Ничуть не лучше, чем герцог Бирон».

– И, как понимаете, слава за удачное ведение нашего Крестового похода будет принадлежать вам, – Литта уклончиво улыбнулся.

– Уж не в главнокомандующие ли меня поставят? – спросил он. На самом деле, он не отказался бы снова уехать в Европу и сражаться, потому что знал, что в Петербурге его съедят и не заметят.

– Здесь Государь проявил упрямство и проговорил, что вас не отпустит никуда, – произнес Литта.

– Вы говорили обо мне с Государем? – Кристоф встал, с шумом отодвинув от себя кресло. – Господа, не много ли вы на себя берете?

– Главнокомандующим, разумеется, вас не сделают, да и сие было бы смешно, дав повод местной публике в очередной раз объявить нашего Магистра в сумасбродстве. Но в армию, как вы того желаете, тоже не отпустят, – терпеливо, как ребенку, разъяснил хозяин дома.

«Бог мой», – подумал Кристоф. – «Они читают мои желания. Мои мысли».

– Кто вам сказал, что я того хочу? – произнес он вслух, чувствуя, как холодеют его руки. Никогда ранее барон не ведал, как, оказывается, страшно быть участником интриги. Уж лучше встретиться наедине с батальоном якобинцев, имея в запасе патронов на четыре выстрела.

– Мы же читали ваш послужной список, – продолжил его собеседник. – Собственно, я начинал так же. И видите, чего я добился.

Фон Ливену стало не по себе. Он снова вспомнил: «*Vous êtes un vrai aventurier*». Меттерних. Сей гордый юноша словно заклеил его этими словами навеки. Авантюристом Кристоф себя никогда не видел, но, оказывается, так воспринимали его все остальные. Одни могли его презирать за это, другие – восхищались. И непонятно было, что хуже. Ибо восхищались те, кого он считал людьми чести не мог.

– У меня иные цели, – покачал он головой, чувствуя, что запутывается в разговоре окончательно, и ему придется нынче эти цели озвучивать.

– Охотно в это верю. Хотя кое-какие из ваших целей совпадают с моими. Успех Дела, богатство... – тут он сделал паузу, длянущуюся ровно столько, сколько Кристофу хватило придумать остроумное возражение, и тут же прервал ее:

– И любовь. Конечно же.

«Все к тому и шло», – подумал Кристоф, вспомнив золотые кудри и белые плечи одной особы, имеющей непосредственное отношение к его хозяевам. – «Сейчас начнут сватать».

Но Лоренцо перевел разговор на иное:

– Да, говоря о любви. Ваш брат может видеться с дамой своего сердца невозбранно... Ведь положение вашей матушки не сможет рухнуть от его увлечения.

Волна бессильного гнева захлестнула Кристофа. Так они знают и про Иоганна? Впрочем, не заметить его полный томления взор, который он всегда устремлял на великую княгиню Анну, мог любой, кто хоть сколько-нибудь интересовался этими двоими. Что ж, Иоганна ничто не излечило. После поездки в Неаполь и возвращения вместе с принцессой Мари-Терезой в Митаву тот свалился больной на три недели, а потом, бледный и изможденный, явился ко Двору и начал слоняться с таким мрачным видом, что его самому старшему из братьев пришлось делать ему внушение в своем неподражаемом стиле. Пожалуй, это был один из немно-

гих поступков, за которые Кристоф испытывал к Карлу благодарность. Однако, судя по сказанному, плодов это не принесло.

«Отправлю его стеречь гарнизон в Оренбург», – подумал граф. – «Матушка меня проклянет, она выговаривала мне так, будто бы я лично заразил нашего Жан-Жака горячкой, но что поделаешь?»

– Не волнуйтесь вы так, – продолжал Лоренцо Литта. – Дело молодое и вполне объяснимое. Каждый рыцарь должен иметь даму сердца. Магистр это тоже понимает...

Аннушка Лопухина, ну конечно же. Кристоф вспомнил ту, которой Государь оказывал слишком большое внимание. Его любимицы никогда не отличались чем-то выдающимся, но для Павла важно было нечто иное. Искреннее восхищение и любовь к нему – вот что его манило в этой дебютантке, единственное достоинство которой для стороннего наблюдателя заключалось в юности – в Аннет не было замечено ни особой красоты и стати, ни пронзительного ума. Да, вот она и объявлена дамой сердца главного рыцаря государства. Значит, поданным тоже неплохо бы следовать его примеру.

– Ваш брат поступает по правилам, между прочим, – добавил младший из графов Литта. – Дама всегда должна быть по статусу выше самого рыцаря. Женой его сюзерена.

– Довольно о моем брате, – вспыхнул Кристоф. – Это сплетни, за которые я имею право требовать поединка...

Внезапно две надушенные, мягкие ладони опустились ему на плечи.

– Не хочу терять папаши или дядюшки, – проворковал голос, который мог принадлежать только мадемуазель Скавронской.

– Ах, Мари, мы думали, ты уже ушла почивать, – искусственно изумился Лоренцо. – Время позднее.

Кристоф обратил внимание, что подобный жест, от которого кровь в жилах закипела, остался не замеченным никем из присутствующих.

– А мне не спится, – она отвела руки и отошла чуть подальше. Кристоф бросил ее взгляд и заметил, что она в одной рубашке, причем довольно короткой – отороченный прозрачным кружевом подол едва доходил ей до щиколоток – и прозрачной.

«Die Nure», – подумал он. – «Die Kleine Nure». Почему-то ни на каком другом языке, кроме собственного родного, он думать столь постыдные мысли не мог.

– Думаешь, наш разговор столь скучен, что может помочь тебе преодолеть бессонницу? – произнес Лоренцо усмешливо.

Ни одного из мужчин не смущал вид юной девушки, простоволосой и легкомысленно одетой. Но он очень смущал фон Ливена. Поэтому он встал и откланялся, произнеся:

– Боюсь, что мне пора уже. Государь требует меня к себе в пять утра, как вам уже, вероятно, известно.

– Пять утра? – глаза девушки расширились. – Бедненький, как же вам рано вставать.

– Сия мадемуазель раньше одиннадцати глаза не открывает, – усмехнулся Литта. – Вы каждодневно совершаете то, что она полагает подвигом.

– Тем не менее, – более настойчивым тоном прервал его Кристоф. – Мне, как и любому человеку, нужен сон, поэтому я уезжаю.

На сей раз его задерживать не стали, распрощались честь по чести, и он сошел вниз, думая, что сегодня он точно не уснет. Разговор был тяжелым. Он собирался рискнуть всем и делать все ради того, чтобы Военной канцелярией поставили командовать другого, а он бы уехал на театр боевых действий, который должен быть вскоре открыться. Его опыт в стане австрийцев, союз с которыми готовили ныне, пригодился бы как нельзя лучше. И еще, желательно бы избежать посвящения в иоанниты, сказаться больным, например, и не явиться на церемонию...

В полутемной прихожей его настиг острый аромат жасмина, принадлежащий той Die Kleine Hure, которой он желал обладать.

– Не уезжайте... Оставайтесь у нас ночевать, – прошептала она, намеренно прижимаясь к нему все ближе, так что он чувствовал не только ее запах, но и тепло, исходившее от ее тела. Когда она вновь положила руки ему на плечи, барон понял – оттолкнуть ее не сможет. К черту все. Мари Скавронская станет ему принадлежать этой ночью. Так, как он этого захочет, и столько раз, сколько ему будет угодно. Но для приличия сдержался и тихо отстранил ее руки, проговорив:

– Вы хоть отдаете себе отчет в том, что творите?

Она хихикнула и указала на дверь, ведущую в потайную нишу. За ней виднелась винтовая лестница, по которой она начала взбираться.

– А если ваш отец узнает?

Мари остановилась на полшага и откровенно рассмеялась. Эта откровенность возмутила Кристофа настолько, что он готов был ее избить. В этом смехе он слышал издевательство над своей наивной похотью и жадностью – ничто больше.

Сознавая, что упускает шанс и, возможно, навлекает на себя болезненные последствия, он отошел на два шага, опустил глаза, дабы вид сей прекрасной вакханки не выдавал его, и проговорил через силу:

– Дабы вы знали, Марья Павловна. Я вас не люблю. И никогда не любил. Вашим мужем быть посему не могу.

– Разве ж для этого нужна любовь? – она не двигалась и не спускала с него своих туманно-синих глаз, столь нежных и столь порочных. Волна желания, поднявшаяся откуда-то снизу живота, парализовала его волю. Он понял, что покажет ей всю силу своей *нелюбви*. Даст ей понять, на что способен не любящий, но вождедеющий мужчина. И ему почему-то не пришло в голову – даже тогда, когда он увидел ее в неглиже, столь откровенно манящую его к себе – что ей был нужен не воздыхатель и не жених.

Мари очнулась первая. Она обернулась и пошла по лестнице вверх, нарочито медленно. С каждым шагом ее сорочка поднималась, и он видел ее ноги, и живо представлял, как разведет их и обрушится на нее, и ему оставалось только следовать за ней в гостиную, где горели два канделябра, и приблизиться к ней, и прижав ее к стене, взять сразу, без малейших ласк и прелюдий, а через некоторое время повторить то же самое на ковре, гадая, как никто ничего не заметил и не прибежал на шум. Кристофа не удивило, что он был не первым у сей вакханки. Нынче не удивило. По тому, как она держалась ранее, можно было предугадать, что соблазнять она умеет. Уже научил кто-то.

– Четыре деревни и семьдесят тысяч рублей. Еще что-то, я не помню. Сверьтесь у батюшки... – прошептала она ему в ухо, когда он лежал, опустошенный и странным образом успокоенный, и чувствовал острое желание закурить, как всегда после интимных свиданий.

– Meine kleine... – пробормотал он, не решившись, однако, продолжить фразу, вертевшуюся у него в голове с ее самого первого появления за этот вечер. Потом усмехнулся – обычно куртизанки называют свою цену до, собственно, свидания, а не после. И платить эту цену приходится клиентам, а не наоборот.

– А правда ли, что вас графом сделают? – проговорила Мари, обнимая его.

– Не меня, – лениво произнес Кристоф. – Матушку.

При упоминании о баронессе Шарлотте он поморщился. Так, теперь надо разъяснять всю ситуацию ей. Поднимется скандал. Даже если ему позволят уйти сегодня без всяких последствий, они вскроются в ближайшее время. Через несколько недель сия особа обнаружит себя беременной и представит все дело своему отчиму так, будто Кристоф ее взял силой. Раньше она этого доказать уже не может, – подумав об этом, он цинично усмехнулся.

– Какая ж в том разница? – протянула Мари. – Мне титул сохранить хочется.

Он обернулся к ней и посмотрел ей прямо в глаза, похожие на темные колодцы. Непроницаемые глаза, не выдающие никаких движений ее души. А есть ли она у нее? А есть ли эта душа у графов Литта, вынесших ее Кристофу чуть ли не на блюде – наслаждайся, мол, спасибо за предательство? При мысли о предательстве он резко встал и начал приводить в себя порядок. Мари молча следила за его действиями, не упрасивая оставаться, не накидывая на себя даже легкомысленной сорочки, в которой была прежде – сушая Омфала, не стыдившаяся своей очаровательной наготы.

...Он вышел из этого дома в четыре часа утра, и морозный воздух ободрил его, дав возможность мыслить трезво. Сюда он уже больше не вернется. Завтра же – нет, уже сегодня – отправится к Наследнику. Отпишет Армфельду, даже не таясь. Так и скажет: делайте со мной что угодно, убивайте, но я вас предал, пусть и невольно. Меня оправдывает только то, что я не стал брать свои тридцать сребреников.

Мысленно сочиняя письмо, он дошел до дома своего, бредя по темноте, чувствуя, насколько же город отзывается с тем, что происходило в его уме и сердце. Не раздеваясь, прошел в кабинет и, к изумлению своему, увидел конверт, запечатанный алой печатью с розой. Трясущимися руками барон вскрыл его и прочел только две строки:

«Такому испытанию подвергнется каждый. Вы прошли его, как могли, с честью. Оставайтесь в Петербурге. Отъездом вы все разрушите».

Подписи, как всегда, не было, и почерк принадлежал не Армфельду. Перечитав столь краткое послание, он подумал, что все его грезы об отъезде на войну имеют те же причины, что и жажда самоубийства – обмануть Провидение и избежать испытаний. На этот раз, его участь – выпутываться из интриг наиболее достойным путем. Чего бы это ни стоило. Все, что было с ним ранее – только мелочи. Настоящие сложности придут потом. И мытарства еще не кончены, несмотря на посвящение и получение долгожданного вознаграждения.

«Однако ж, они почему-то были уверены, что от женитьбы на Скавронской я откажусь», – подумал он, прежде чем уснуть прямо в кресле. – «Даже не хочу думать о причинах подобной уверенности».

Назавтра ситуация разъяснилась и перестала казаться слишком уж запутанной. Вдалеке забрезжил свет надежды на то, что он не пропадет. Никогда не пропадет.

CR (1831)

...Писать о событиях позапрошлого и прошлого царствований мне до сих пор стеснительно. Даже если учитывать тот факт, что заметки эти не предназначены для публикации и прочтения кем-либо посторонним. И что времена, о которых я пишу, могут быть отнесены к истории. Говорить правду какая она есть – без умолчаний, вольных интерпретаций, оговорок – и есть истинное мужество. Нынче, когда я постепенно освобождаюсь от прежних страхов и тревог, подобные подвиги даются легче. Вспоминая себя три десятка лет тому назад, я готов рассмеяться. Мне тогда казалось, что я иду с завязанными глазами по лесу, полному диких зверей и опасностей, поэтому вечно был настороже, и боялся даже намеков. Тем страннее, что моя осторожность заставляла меня совершать немало глупостей и опрометчивых поступков.

С высоты прожитых лет дело кажется понятным. Но я не знал тогда, что Госпитальеры имели сугубо политическое значение, а мистицизм им был нужен для того, чтобы воздействовать на Государя, для которого сие имело большое значение. Мне казалось, что, входя с ними в сговор, я предаю свой Орден. Тем удивительнее было видеть похвалы своим действиям, которые тогда я полагал испытанием пределов моей глупости. Наконец, я полагал, что предал Наследника. И что Государь догадывается о многом.

В ту пору Государь стал особенно сильно обращать внимание на состояние вверенного Цесаревичу полка, и, по своему обыкновению, постоянно находил недочеты. О каждом из подобных недочетов, даже о самых мелких, я был вынужден докладывать великому князю

Александрю. Поначалу я трусливо избегал этих докладов, отправляя вместо себя своих адъютантов и ссылаясь на занятость. Но однажды мне пришлось сказать неприятные вещи ему в лицо. Лично.

На одном из плац-парадов, выпавшим на особенно снежное утро, Государь, заметив, что пятая шеренга семеновцев идет не совсем в ногу (а чтобы сие заметить, нужно было специально вглядываться), разразился бранью и тотчас же, обернувшись через плечо, проронил:

– Ливен, ступай к цесаревичу и объяви ему, что сажаю его под домашний арест. Он бесполезен.

Я понял, что ничего не поделаешь, и отправился верхом на другой фланг, откуда за парадом наблюдал цесаревич. Мне пришлось повторить сказанное, и все чувства, как видно, отразились на моем лице так, что Александр только головой покачал. Взгляд его был обреченным и в то же время дружественным, в нем я видел сочувствие себе и своей вечной участи герольда дурных вестей. Оглянувшись, я вполголоса добавил:

– Сие в высшей степени несправедливо, Ваше Высочество. Я сделаю все возможное, чтобы наказание вас миновало.

Цесаревич вздохнул, проговорив:

– Не бери на себя слишком многое, Христофор.

Но в этот раз его воле я не покорился, намереваясь, на свой страх и риск, выгородить его от несправедливого наказания. Вернувшись к Государю, я заметил, что на лице его уже не читается былого неудовольствия.

– Но хоть лучше, чем раньше, – проронил он, не глядя на меня. – Радостно видеть, что Его Высочество чему-то учится. Передай ему, что на сей раз его прощаю.

Мне пришлось снова отбывать к цесаревичу и доносить ему все сказанное его отцом. Абсурд ситуации поняли мы оба, но не смели даже обменяться ироничными взглядами, не говоря уже о каких-то словах. Я только добавил, убедившись в том, что меня никто не услышит:

– Мне все же надобно вас предупредить.

– *О них?* – наследник показал взглядом на мальтийцев, в своих бело-черных плащах напоминавших стаю воронов. Я кивнул.

– Вечером, – шепнул он. – В семь.

В покоях цесаревича горели канделябры, и я был принят не как посланец Государя, а как *свой*, что заставило меня окончательно сделать выбор. Я проговорил, как на духу, глядя прямо в голубые глаза цесаревича:

– Граф Литта полагает вас своим неприятелем и пытался действовать через меня, дабы заручиться вашим расположением к его делу.

Видя, что Александр ожидает от меня дальнейших пояснений, я продолжил:

– Зная, что нынче их цели достигнуты и они полагают себя победителями, я хотел бы, тем не менее, предупредить вас, Ваше Высочество – ежели они начнут говорить о моей измене вам, не верьте их словам.

Мне было странно произносить эти заверения при свидетелях, в которых я был не до конца уверен.

– Христофор, я никогда не полагал тебя своим врагом и прекрасно знал, чего добивался Литта, – отвечал мне цесаревич ровным голосом. – Но мне отраднее видеть, что в тебе хватило правдолюбия, дабы не польститься на его обещания. Затем он тихо добавил:

– Значат ли эти слова, что твою помолвку с m-lle Скавронской можно считать разорванной?

– Никакой помолвки не было, Ваше Высочество, – произнес я ровным голосом. – Но, очевидно, слухи граф Литта уже пустил.

– В самом деле, не всем слухам следует верить, – откликнулся цесаревич. Затем он проговорил:

– Ты и так делаешь для меня незаслуженно многое, Христофор. Я не удивлюсь, если этот визит принесет для тебя нелицеприятные последствия. В любом случае, ты можешь рассчитывать на мое покровительство, ежели я буду в силах его оказать.

– Удивительно, с чего это граф решил, будто я стану учинять ему всяческие препятствия? Против Мальты я никогда ничего не имел, – продолжал Наследник. – И странно, почему он решил действовать через тебя, Христофор. Но, как бы то ни было, ты поступил правильно, доверившись мне.

Так я стал доверенным лицом Великого Князя, а через три года – Императора Александра. Меня не называют его «юным другом», я к ним и не относился никогда. Но на мою непоколебимую верность он мог всегда рассчитывать, и это знал. Я дорого ценил его доверие, памятуя о его подозрительности.

Покамест, однако, все это были мелочи. Проблемы придут потом.

Через две недели я стал Кавалером Мальтийского ордена в числе остальных ста человек, избранных императором Павлом. Церемония была обставлена со всей торжественностью – горящие факелы, черные всадники на белых конях, восьмиконечные кресты, клятвы на латыни. Наверное, единственным, кто наслаждался церемонией, был император Павел. Остальные, в том числе, и графы Литта, воспринимали все это крайне равнодушно. Посвящение в Мальтийские рыцари стало первым из череды традиционных празднеств этого времени года и слилось со всеми остальными.

За время этого сезона я имел долгий разговор с матушкой по поводу моей предполагаемой женитьбы на Marie Скавронской. Как оказалось, графы Литта начали переговоры с нею самой, и она была, в сущности, не против, потому как четыре деревни, семьдесят тысяч годового дохода и все потемкинские бриллианты на дороге не валяются. Наученный прошлым опытом, я даже не пытался отговариваться от матушкиных аргументов, а выслушивал их с деланным равнодушием.

– Не скрою, – повторяла Mutterchen на нашем общем обеде в честь Нового года. – Я желала не такую невестку. Она не из *наших*.

Под нашими, естественно, разумелись die Balten Fraulein.

С меня не сводили глаз все члены нашего семейства. Фитингоф поглядывал на меня с неким отвращением, сестра Катхен – с сочувствием, Иоганн был, как прежде, весь в себе, а Карл, слава те Господи, отбыл к жене в Курляндию третьего дня.

– Я полагаю, матушка, что о моем браке еще рано говорить, – я себя чувствовал так, словно докладываю государю некое тонкое и сложное дело, в котором сам до конца не разобрался. – И, потом, пока не вижу необходимости жениться.

Лицо матушки приняло изумленное выражение. Я отказываюсь от богатства и красивой жены? Но потом это выражение, к моему вящему изумлению, сменилось на понимающее. Она внезапно проронила:

– Ты прав. Я бы тоже не торопилась с ответом.

Я подумал тогда, что утвердительный ответ мне рано или поздно все-таки придется дать. К сожалению, одна из моих особенностей, которую я делю со многими мужчинами нашей семьи, заключается в том, что женщины от меня беременеют быстро и легко, даже при соблюдении определенных предосторожностей. Поэтому близок час, когда граф Литта предьявит мне и моей матушке ультиматум.

Позже, когда все разошлись, матушка попросила меня остаться с ней и проговорила откровенно:

– Конечно, ты не мог этого не заметить. Какой позор! Я не стала говорить при всех, но тебе скажу откровенно – тот, кто на нее польстится, обретет немало позора.

– Что вы имеете в виду? – проговорил я.

– Неужели ты ничего не слышал?

Я гордо отвечал:

– Мне неинтересны слухи.

– Так послушай, что говорят люди, – лаконично произнесла матушка. – Узнаешь много всего интересного.

Тогда я подумал, что позор как-то связан с прежними связями m-lle Скавронской. Попытался припомнить, кого приписывают ей в любовники – возможно, кордегардия и обсуждала нечто подобное ранее. Но нет, я бы такое непременно запомнил. Хотя, судя по ее поведению со мной, оснований для подобных слухов было великое множество.

– В любом случае, – продолжил я. – Жениться мне рановато. Более того, очень скоро будет якобинцам будет объявлена война и, ежели мне выпадет назначение в действующую армию, я его приму.

Матушка внимательно и с некоторым негодованием смотрела на меня. Я знал, что со времен несчастной персидской экспедиции она бы предпочла, чтобы я вечно находился с ней рядом.

– Жениться тебе необходимо, Кристхен, – произнесла она, наконец, словно не слыша моей реплики касательно войны. – Но не на Скавронской.

Эдакий вердикт означал одно – матушка уже задумалась над тем, дабы приискать мне невесту. И она сию невесту найдет. Сие меня возмущало в те времена не слишком – мое сердце, как я тогда полагал, мертво для любви, страсть же никогда не представляла для меня самоцели. В браке были свои выгоды, сугубо материальные, так что я не возражал этому решению. Ежели мне найдут недурную собой девицу с неплохим приданым и подходящей родословной, то я не откажусь от женитьбы.

В это время я успел уже разглядеть, почему матушка решила, будто брак с графиней Мари меня опозорит. Не буду описывать всех подробностей, скажу одно – я был бы третьим лишним в сплоченной паре, состоявшей из нее и отчима. Матушка знала об этой связи еще раньше, по слухам ли, лично ли убедилась в ее наличии – не выяснял никогда. Надо сказать, что женщинам, тем более, наделенным умом и чувствительностью, как моя мать, сестры и супруга, многие нюансы взаимоотношений людей видны яснее, чем нам.

Надо полагать, что графу Литте и его племяннице нужен был *le mari complaisant*, и он довольно быстро убедился в том, что я на эту роль не гожусь. Поэтому после трех-четырех визитов и «случайных» встреч на придворных балах и званых обедах это семейство от меня отошло, и я мог вздохнуть с большим облегчением.

Через полгода графы Литта нашли другого остзейца «в силе» (они делали ставку на «немецкую партию») – моего приятеля Петера фон дер Палена, сына того самого графа Палена, который сыграет роковую роль в судьбе государей Российских, и моего товарища по Персидской экспедиции. На этот раз, очевидно, они не стали повторять своих ошибок, совершенных в отношении меня. Я не успел даже поговорить с ним, – да и что я бы ему сказал? За откровенность меня бы ославили сплетником и пригласили бы к барьеру. Я узнал о его свадьбе уже по факту. Через четыре года моему приятелю, человеку простому и честному, как видно, надоело быть *le mari complaisant*, он добился развода после рождения дочери – вряд ли от него.

Избавившись от двойного бремени странной интриги и предстоящей женитьбы, я мог продолжать жить далее. Но что это была за жизнь?

В марте была объявлена война Франции, и ведомство, которое я отныне возглавлял, приготавлило диспозицию. Суворов, герой сражений с поляками, главный искоренитель мятежной нечисти, был с большой помпой назначен в Швейцарию. Туда же попали многие известные личности, в том числе, мой первый начальник генерал Корсаков, для коего эта война оказалась

весьма плачевной, а также великий князь Константин. Мне, как и моим братьям, было приказано оставаться в Петербурге. Собственно, иной участи нам и не предугадывали. В том же месяце моя мать, как и предсказывал Литта, была сделана графиней, и мы, соответственно, графами. Помню, тогда я долго привыкал к новому титулу, само его сочетание с собственной фамилией казалось мне нелепым до крайности. Что ж, быть светлейшим князем еще забавнее, ежели судить, и к обращению «Ваша Светлость» я не привык до сих пор.

...В ознаменование воинского «союза христианских государей» великая княгиня Александра, дважды отвергнутая шведским наследником, сделалась Палатиной Венгерской. Ничего хорошего из этого союза не вышло, как известно. Австрийцы ее фактически довели до безвременной кончины. Ничего не вышло из войны, в которой Суворову приходилось совершать чудеса героизма из-за непродуманности планов наших союзников. Успехи были перечеркнуты сговором с Буонапарте, разрывом отношений с Англией, распадом всей коалиции. Это стало началом конца. Такого не прощают.

Но в Девяносто девятом году, пока шла более-менее удачная война, о сем не думалось. Триумфы ярко окрашивали мрачную и напряженную атмосферу Двора. Втайне я, как и многие, завидовал тем, кто ушел воевать в Швейцарию и Италию. Удивительно. Знал ли я когда-либо, что так захочу воевать?

Если судить, к какой партии я принадлежал, то сказать сие было невозможно, поскольку каждый выступал за себя. Но все хватало меня за руки, заводили глубокомысленные разговоры, добивались дружбы и поддержки. Граф Литта оказался первым, но далеко не последним из тех, кто от меня чего-то хотел. Наверное, тогда я научился никому не давать никаких обещаний и надежд, говорить двусмысленности и ускользать из приветливо раскрытых объятий. Качества, необходимые для дипломата, что и говорить.

Одно я знал точно – ежели мне придется выбирать, с кем быть, я буду поддерживать сторону цесаревича Александра. Я и не знал, что выбирать придется скоро. И что выбор окажется таким мучительным.

К концу того года я обрел друга в лице Пьера Долгорукова, навсегда рассорился со старшим братом и оказался помолвлен с одной очень юной Fraulein. Впереди я разглядел огонек надежды, но он в очередной раз оказался ложным, и темная ночь души моей лишь сгущалась. Но, по крайней мере, я был не один. В этом заключалось мое спасение. И оно косвенно пришло от тех, кто принял меня в свой круг.

Дотти. Истинная сестра.

...Дотти с трудом открыла глаза. Сначала все вокруг показалось смутным, и она не поняла, где находится. Последнее, что она помнит – очень заболела голова, ее затрясло в ознобе, стало больно глотать, мадемуазель Бок озабоченно прикоснулась своей маленькой ладошкой к ее горячему лбу, потом испуганно пролепетала: «О Боже, Dorothee, теперь и вы заразились!» – и отшатнулась от нее, как от прокаженной, потом выбежала из комнаты. Пока ее глупенькая гувернантка бегала по коридорам, Дотти подумала, что неплохо бы прилечь и поспать. Она уже поняла, что она заболела скарлатиной, сразившей после зимнего сезона многих девочек из ее класса. Поговаривали, что две из них даже померли. Далее в голове осталось лишь что-то смутное – ее передевают, уносят на руках по коридорам, кто-то произносит имя Государыни, что-то холодное касается ее воспаленного лица.

Нынче голова не болела – в ней царил странная, звенящая пустота. Горло еще побаливало, правда, но тоже уже не так сильно, как в самом начале. Девочке захотелось встать, но она не могла двинуться с места. Веки, которые она с таким трудом разлепила, казалось, могли закрыться в любой момент, и она больше не сможет их поднять.

Вскоре она ощутила присутствие кого-то другого в комнате. Это ее не удивило – кто же должен был сидеть у ее постели, подносить лекарства. Возможно, институтская горнич-

ная Агаша – добрая душа. А может, и не она. Дотти медленно привстала в постели, досадуя, как плохо слушаются ее руки и ноги. Даже малейшее движение вызывало боль. Тут же некто, присутствовавший в комнате, встал и склонился над ее кроватью.

– Не надо, мадемуазель, не надо вам пока вставать, – проговорил тихий женский голос по-французски.

Дотти смогла разглядеть во тьме прямой и высокий женский силуэт, а затем ощутила прикосновение прохладных рук, запах розовой воды, которым повеяло на нее откуда-то сверху.

– Вы... кто? – прошептала она. – Где мадемуазель Бок?

– В Кёнигсберге, – произнесла незнакомка.

– Как она там оказалась? – мигом спросила Дотти. Любопытство пересиливало в ней утомление и боль.

– Помолчите, потом все узнаете, – продолжила неизвестная женщина. – И попытайтесь поспать, а то снова жар поднимется. Возьмите-ка, выпейте.

Она подала стакан с водой, в которую было подмешано какое-то резко пахнущее лекарство. Девочка поморщилась и сделала глоток.

– Сколько я уже больна? – спросила она тихо.

– Две недели, – дама отошла чуть поодаль, и в свете дня, пробивающемся сквозь щель меж темных штор, висящих на окне, Дотти смогла разглядеть ее. Блондинка, высокая и тонкая, в темном шерстяном платье. Не особо примечательные черты лица. Светлые глаза. Возможно, одна из классных дам. По-французски она говорила очень хорошо, но с некоторым акцентом, причем не русским и не остзейским.

– Кто вы? – спросила Доротея.

– Мадам Леннерт, – проговорила дама. – Ваша новая гувернантка.

Потом, видно, во избежание расспросов, она направилась к двери и вышла, слегка ее притворив.

«Где же мадемуазель Элен?» – подумала девушка. Почему-то вид той, что представилась гувернанткой, ей не понравился. Такие строги и жестоки, а та, что нынче по какой-то причине уехала в Кёнигсберг, отличалась снисходительностью. С ней можно было свободно писать графу Эльмсту о чем угодно, она передавала его письма, даже не глядя на конверт. Все потому, что у мадемуазель были свои поклонники – прогуливаясь в подопечными в Юсуповом садике, девица фон Бок постоянно переглядывалась с офицерами, а однажды, к восторгу Дотти и Мари, покинула их на целый час, уйдя под ручку с неким красавцем в измайловской униформе. Возможно, поведение ее наставницы обратило на себя неблагоприятное внимание государыни, и та ее отстранила. Или же Элен фон Бок вышла замуж. Но почему она покинула Дотти в такой момент? Что случилось? И что теперь станет с письмами Анрепа? Еще до ее болезни, в одном из посланий, граф упоминал, что «не должен был вести с вами переписку, ибо мое имя на русской земле предано анафеме и опале». Далее шло пространное описание немилостей и несправедливостей, которым он подвергся «среди высокопоставленных особ». «Таким образом, мадемуазель Элен одна остается ниточкой, связывающей меня с вами, и я страшусь того мгновения, когда эта ниточка прервется...» – заканчивал он.

Дотти снова закрыла глаза, пытаясь представить перед собой графа. Надобно ему написать. Небось, он распереживался, что три недели не видел от нее писем. Кто знает, может быть, Элен успела ему упомянуть, что его нареченная больна. Облик Ойгена казался ей смутным – он по-прежнему представлял собой нечто прекрасное, хрупкое, но теперь Дотти не могла вспомнить черт его лица или звука голоса. Оставалось лишь домысливать...

Скорее всего, если Элен оказалась в Кёнигсберге и ей подыскали замену в лице «этой каланчи», как уже окрестила мадам Леннерт Доротея, то письмам будет конец. Новая гувернантка говорила заботливо, но в голосе ее слышался некий металл – так часто разговаривала

с Дотти государыня. Вполне возможно, что она «церберша» – так институтки называли самых строгих классных дам. С такой не пошутишь...

Внезапно Дотти стало грустно. Давно не чувствовала она себя столь одиноко. Были шумные праздники, были визиты царской семьи в Смольном, в которых она, в числе прочих, резвилась с самим Государем, вовсе не таким грозным, как рассказывали. Были прогулки в Юсуповом саду, когда она могла встречаться с братьями, и смеяться над их рассказами. Были письма рара и ее ответы. Был, наконец, Анреп...

«Надо проверить, где его письма», – подумала Дотти. Но для начала нужно было совершить невозможное – встать с кровати и пройти через коридор до своей комнаты. Она ж наверняка в лазарете... Или нет?

Девочка пригляделась к тьме, в которую была погружена комната. Нет, точно, она находилась там, где ее и сразила болезнь. Вот стол, вот умывальник... Уже легче. Дотти медленно выпрямилась и привстала в кровати. Поясница невыносимо болела. Смогла спустить ноги на холодный паркет, с трудом встала, пошатываясь, и побрела к сундуку, в котором хранила все свои незатейливые девичьи вещи. Каждый шаг сопровождался сильной болью, она едва удерживалась от того, чтобы не застонать. Наконец, медленно, щадя каждый воспаленный сустав своего тела, Доротея встала на колени, ощутив гладкое дерево сундука. Замок был вырезан. «Я так и знала», – вздохнула Дотти. Открыв крышку, она пошарила руками в темной, пахнущей жасминовыми духами, которыми щедро смачивал письма ее жених, внутренности сундука. Пустота. Только ее побрякушки, засушенные цветы, старые тетрадки и ноты... Но нет стопки, перевязанной белой атласной ленточкой. Убедившись в том, что письма исчезли, Дотти зарыдала, опершись на край сундука. Так ее и застала привлеченная шумом мадам Леннерг.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.